

Альманах — "Караван"

— Вильгельм Гауф —

Сказки

Вильгельма Гауфа



Альманах

Караван

Настоящая электронная книга создана с целью ознакомления детей
с литературным творчеством лучших писателей мира.



Издательство
«Алиса в стране Чудес»

Караван

Однажды по пустыне шел большой караван. На беспредельной равнине, где видишь только небо да песок, издалека уже слышались колокольчики верблюдов и серебристые бубенцы лошадей; густое облако пыли, предшествовавшее ему, возвещало о его приближении, а когда порыв ветра рассеивал облако, блеск оружия и пестроты одежд слепили глаза.

Так предстал караван всаднику, приблизившемуся к нему сбоку. Под всадником был прекрасный вороной конь, которому попоной служила пигровая шкура, алую сбрую унизывали серебряные колокольчики, а над головой развевался прекрасный султан. Сам всадник был стапен, и наряд его отвечал великолепию коня: чело ему обвивал белый тюрбан, богато запканый золотом; кафтан и широкие шаровары были пунцового цвета; у пояса висела кривая сабля с богатой рукояткой. Тюрбан, надвинутый низко на лоб, блеск черных глаз из-под густых бровей, длинная борода, спускавшаяся из-под горбатого носа, — все это придавало ему мрачный и грозный вид. Когда всадник очутился шагах в пятидесяти от начала каравана, он пришпорил коня и вмиг подскочил к переднему ряду. Так диковинно было видеть посреди пустыни одинокого всадника, что стража каравана, испугавшись нападения, выставила ему навстречу копыя.

— Что с вами? — вскричал всадник в ответ на столь воинственную встречу. — Неужто, по-вашему, один человек вздумает напасть на ваш караван?

Пристыженная стража отвела копыя, а ее начальник подъехал к незнакомцу и спросил, чего он желает.

— Кто хозяин каравана? — спросил всадник.

— У него не один хозяин, — отвечал тот, — здесь несколько купцов возвращаются на родину из Мекки, а мы сопровождаем их через пустыню,

потому что в этих краях всякий сброд частенько превозжит путешественников.

— Тогда проводите меня к купцам, — попотребовал незнакомец.

— Сейчас это невозможно, — возразил глава стражи, — нам нужно без задержки продолжать путь, а купцы отстали от нас по меньшей мере на четверть часа пути; если же вам угодно проехать со мной до привала на полуденный отдых, то я исполню ваше желание.

Незнакомец ничего не ответил; он достал длинную трубку, которая была у него привязана к седлу, и принялся курить, глубоко запыгиваясь, а сам продолжал ехать подле предводителя каравана. Тот не знал, как ему быть с незнакомцем; он не решался напрямик спросить его имя, а сколь ни искусно пытался он завязать разговор, незнакомец на его замечания, вроде: «Недурной вы курите табак», или: «У вашего вороного славный ход», — отвечал кратким: «Да, да!» Наконец они достигли места, назначенного для полуденного отдыха. Предводитель расставил стражу из своих людей, а сам вместе с незнакомцем стал поджидать караван. Тридцать верблюдов с тяжелой поклажей, в сопровождении вооруженных погонщиков, прошли мимо них. Далее на красивых конях следовали пятеро купцов, которым принадлежал караван. То были по большей части люди преклонного возраста, суровые и степенные на вид, один лишь казался много моложе остальных, а также живее и веселее. Множество верблюдов и вьючных лошадей замыкали шествие.

Тотчас же были разбиты шатры, а верблюды и лошади поставлены возле них.

Посредине помещался большой шатер из голубого шелка. Туда повел начальник стражи незнакомца. Когда они откинули занавес у входа, то увидели пятерых купцов, сидевших на запканых золотом подушках; черные рабы подавали им кушанья и напитки.

— Кого это вы к нам привели? — крикнул молодой купец предводителю. Но не успел тот ответить, как заговорил незнакомец:

— Меня зовут Селим Барух, я родом из Багдада; на пути в Мекку я был захвачен шайкой разбойников и при дня тому назад тайком бежал из плена. По милости великого пророка я издалека услышал звон колокольчиков вашего каравана и явился к вам. Дозвольте мне путешествовать вместе с вами. Ваше покровительство не будет оказано недостойному, а когда вы приедете в Багдад, я щедро вознагражу вашу доброту, ибо я племянник великого визиря.

Ответил ему старший из купцов:

— Селим Барух, — сказал он, — мы с радостью берем тебя под свою защиту и охотно поможем тебе, но сперва садись, ешь и пей с нами.

Селим Барух сел подле купцов и стал есть и пить с ними. После трапезы рабы убрали посуду и принесли длинные трубки и турецкий шербет. Купцы долго сидели молча, выпускали голубоватые облачка дыма и следили, как те свиваются, расходятся и, наконец, улепучиваются. В конце концов молодой купец прервал молчание:

— Вот так мы сидим уже при дня, — сказал он, — и на коне и за столом, не пытаясь никак скоротать время. Меня порядком одолевает скука, ибо я привык после трапезы смотреть на танцовщиков либо слушать музыку и пение. Друзья мои, не придумаете ли вы, чем бы нам скоротать время?

Четверо старших купцов продолжали курить, не на шутку, по-видимому, задумавшись, незнакомец же заговорил:

— Позвольте мне сделать предложение. Хорошо, если бы на каждом привале один из нас что-нибудь рассказывал остальным. Это уж, конечно, помогло бы нам скоротать время.

— Селим Барух, твоя правда, — сказал Ахмет, старший из купцов, — нам следует принять это предложение.

— Я рад, что мое предложение пришлось вам по вкусу! — произнес Селим. — И дабы показать вам, что пребывание мое бескорыстно, я возьму почин на себя.

Пятеро купцов с воодушевлением придвинулись ближе, а незнакомца усадили посредине. Рабы опять наполнили чаши, наново набили своим господам трубки и принесли горящих углей, чтобы зажечь их. Селим освежил горло добрым глотком шербета, расправил длинную бороду и произнес:

— Итак, слушайте рассказ о калифе-аисте.

Рассказ о Калифе-Аисте

1

Багдадский калиф Хасид благодушествовал однажды под вечер у себя на диване; он слегка вздремнул, ибо день выдался жаркий, и теперь, после дремы, казался весьма в духе. Он курил длинную трубку розового дерева, время от времени отпивал глоток кофе, который наливал ему раб, и всякий раз, смакуя напиток, с довольным видом поглаживал бороду. Словом, ясно было, что калиф настроен превосходно. Именно в этот час он бывал стоворчивее, мягче и милостивее всего; потому-то его великий визирь Мансор являлся к нему ежедневно об эту пору. Тут он тоже пришел, но был, против своего обыкновения, очень озабочен. Калиф на минуту вынул трубку изо рта и произнес:

— Отчего у тебя такой озабоченный вид, великий визирь?

Великий визирь сложил руки крестом на груди, поклонился своему господину и ответил:

— Господин мой! Озабоченный ли у меня вид, я не знаю, но внизу перед дворцом стоит разносчик с такими прекрасными вещами, что меня досада берет, отчего у меня нет лишних денег.

Калиф, которому давно хотелось чем-нибудь порадовать своего великого визиря, послал черного раба вниз за разносчиком. Вскоре раб вернулся с разносчиком. То был толстый человек, очень смуглый лицом и одетый в лохмотья. При нем был ларь, вмещавший всевозможные повары — жемчуга и кольца, богато оправленные пистолеты, чаши и гребни. Калиф со своим визирем пересмотрели все, и калиф купил в конце концов для себя и для Мансора красивые пистолеты, а для жены визиря — гребень. Когда разносчик собрался уже запирасть ларь, калиф заметил в нем еще ящичек и спросил, нет ли и там поваров. Разносчик выдвинул ящик и вынул из него табакерку с черноватым порошком и бумажку со спранными письменами, которых не могли разобрать ни калиф, ни Мансор.

— Я получил как-то эти предметы от одного купца, который нашел их на улице в Мекке, — сказал разносчик, — я не знаю, что в них содержится; вам я уступлю их за самую низкую цену, мне-то ведь они ни к чему.

Калиф, который охотно собирал для своей библиотеки старинные манускрипты, хоть и не умел читать их, купил рукопись и коробочку и отпустил разносчика.

Однако калифу очень хотелось узнать, что сказано в рукописи, и он спросил визиря, не знает ли тот, кто бы мог разобрать ее.

— Милостивый господин и повелитель, — ответил визирь, — при большой мечети проживает человек, которого зовут Премудрый Селим, он знает все языки, вели позвать его, быть может, он поймет эти таинственные начертания.

Премудрый Селим вскоре был приведен.

— Селим, — обратился к нему калиф. — Селим, говорят, ты большой мудрец; взгляни-ка в эту рукопись, разберешь ты ее или нет; если разберешь, то получишь от меня новую праздничную одежду, а не разберешь, то получишь дюжину пощечин и две дюжины ударов по пяткам за то, что зря зовешься Премудрым.

Селим поклонился и сказал:

— Да будет воля твоя, о господин мой!

Долго разглядывал он рукопись и вдруг вскричал:

— Пусть меня повесят, если это не по-лапыни, о господин мой!

— Скажи же, что там написано, — приказал калиф, — раз это по-лапыни.

Селим принялся переводить: «Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его милость! Кто понюхает порошок из этой коробочки и при этом произнесет «мутабор», тот может превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть поклонится трижды на восток и произнесет то же слово; однако, будучи превращенным, остерегись смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у тебя из памяти, и ты останешься зверем».

Когда Премудрый Селим кончил читать, восторгу калифа не было пределов. Он заставил мудреца поклясться, что тот никому не выдаст тайны, подарил ему красивую одежду и отпустил его.

Затем калиф обратился к своему визирю:

— Вот уж поистине удачная покупка, Мансор! До чего весело будет стать зверем! Завтра с утра приходи ко мне; мы вместе отправимся в поле, понюхаем малую толику из моей коробочки и послушаем, что говорится в воздухе, в лесу и в поле!

II

На следующее утро, не успев калиф Хасид позавтракать и одеться, как уже, исполняя приказ, явился великий визирь, чтобы сопутствовать ему на прогулке.

Калиф заткнул за пояс табакерку с волшебным порошком и, приказав свите не сопровождать его, вдвоем с великим визирем пустился в путь. Они пошли сперва по обширным садам калифа, но тщетно искали они там живых существ, чтобы испробовать свой фокус. Тогда великий визирь предложил пройти к пруду, где ему частенько случалось видеть множество птиц, а именно аистов, привлекавших его внимание величавостью поворотов и неустанной прескотней.

Калиф согласился на предложение своего визиря и вместе с ним отправился к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который степенно шагал взад и вперед, отыскивая лягушек и что-то прещая себе под нос. Одновременно они увидели высоко в небе второго аиста, летевшего к тому же месту.

— Готов бороду сбою прозакладывать, милостивейший господин мой, — сказал великий визирь, — что эти две длинноножки поведут сейчас между собой преинтересный разговор. Что, если бы нам обратиться к аистов?

— Умно придумано, — отвечал калиф. — Но сперва надо еще раз припомнить, как опять стать людьми. Правильно, — три раза поклониться на восток и произнести «мутабор», тогда я снова буду калифом, а ты визирем. Но только боже упаси нас рассмеяться, не то мы погибем!

Пока калиф говорил, второй аист пронесся у них над головами и медленно спустился на землю. Быстро достал калиф из-под пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул ее великому визирю, который нюхнул поже, и оба вскричали: «Мутабор!»

И сейчас же ноги у них съезжились и стали тонкими и красными; красивые пуфли калифа и его спутника стали неуклюжими аистиными лапами, руки стали крыльями, шея выпянулась и спала в локоть длиной, борода исчезла, а тело покрылось мягкими перьями.

— Недурной у вас клюв, господин великий визирь, — произнес, едва оправившись от изумления, калиф. — Клянусь бородой пророка, ничего подобного я в жизни не видывал.

— Покорнейше благодарю, — отвечал великий визирь, кланяясь, — но осмелюсь заметить, что вашему величеству еще более к лицу быть аистом, чем калифом. Однако не угодно ли вам пойти послушать наших соповарищей и узнать, на самом ли деле мы разумеем по-аистиному?

Тем временем второй аист успел спуститься на землю; он почистил себе клювом ноги, пригладил перья и направился к первому аисту. Оба новоявленных аиста поспешили поближе и, к изумлению своему, услышали следующий разговор:

— Доброе утро, госпожа Долгоног, — чуть свет уже на лугу?

— Благодарствую, душечка Трещотка! Я промыслила себе кой-чего на завтрак; не угодно ли четвертушку ящерки или лягушачий филейчик?

— Чувствительно благодарна, но нынче у меня нет ни малейшего аппетита. Я совсем по другому делу явилась на луг. У отца сегодня гости, мне придется танцевать перед ними, вот я и хочу немного поупражняться на досуге.

И юная аистиха зашагала по лугу, выкидывая удивительнейшие коленца. Калиф и Мансор изумленно, глядели ей вслед, но когда она остановилась в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, они не могли сдержаться, из их клювов вырвался неудержимый хохот, от которого они нескоро отдышались. Калиф первый овладел собой.

— Такой потехи ни за какие деньги не купишь! — вскричал он. — Жаль, что глупые твари испугались нашего смеха, а не то бы они, наверное, еще и запели!

Но тут великому визирю пришло на ум, что смеяться во время превращения не дозволено. Он поделился своими страхами с калифом.

— Клянусь Меккой и Мединой, плохая была б потеха, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомни-ка это дурацкое слово, у меня оно что-то не получается.

— Нам надлежит трижды поклониться на восток и при этом произнести: му-му-му...

Они повернулись на восток и принялись кланяться, чуть не касаясь клювами земли, но, увы! — волшебное слово выскользнуло у них из памяти, и сколько ни кланялся калиф, сколько его визирь ни выкликал при этом с поской «му-му-му», слово исчезло, и бедняга Хасид вместе со своим визирем как были, так и остались аистами.

III

Печально плелись заколдованные калиф и визирь по полям, не зная, как помочь своей беде. Аистиное обличье сбросить они не могли, в город вернуться, чтобы назвать себя, тоже не могли: кто бы поверил аисту, что он калиф? А если бы кто-нибудь и поверил, разве жители Багдада пожелали бы себе в калифы аиста?

Так они бродили много дней, скудно питаясь злаками, которые им не легко было жевать длинными клювами. Ящерицы же и лягушки не внушали им аппетита; они боялись испортить себе пищеварение подобными лакомствами. Единственной их отрадой в бедственном положении была

способность летать, и они частенько летали над крышами Багдада, желая увидеть, что там происходит.

В первые дни они замечали на улицах великую тревогу и печаль; но приблизительно на четвертый день после своего превращения сидели они на дворце калифа, как вдруг увидели внизу на улице пышное шествие; звучали трубы и барабаны; на разукрашенном коне сидел человек в запканном золотом пурпурном кафтане, окруженный блестящей свитой; пол-Багдада бежало ему вослед, и все кричали: «Слава Мицре, повелителю Багдада!»

Аисты на крыше дворца переглянулись между собой, и калиф Хасид произнес:

— Догадываешься ты теперь, отчего я заколдован?

Этот самый Мицра — сын моего заклятого врага, могущественного волшебника Кашнура, который в недобрый час поклялся жестоко отомстить мне. Но надежда не покидает меня. Следуй за мной, верный повариха моих бед, мы отправимся к гробу пророка; быть может, волшебство рассеется в святых местах.

Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь было трудно, у обоих аистов не хватало сил.

— Господин мой, — простонал часа через два великий визирь, — с вашего разрешения, мочи моей больше нет, вы летите слишком быстро! И вечер уже спускается, нам следует подыскать себе прибежище на ночь.

Хасид внял мольбе своего слуги; внизу в долине он как раз заметил руины, которые, по-видимому, могли дать им приют, и они полетели туда. Развалины, куда они спустились на ночлег, очевидно, были некогда замком. Прекрасные колонны высились над грудями камня; многочисленные покои, достаточно сохранившиеся, свидетельствовали о былом великолепии

здания. Хасид со своим спутником бродили по галереям в поисках сухого местечка; внезапно аист Мансор остановился.

— Господин мой и повелитель, — пролепетал он чуть слышно, — хотя великому визирю, а тем паче аисту, нелепо бояться привидений, однако меня берет жуть, ибо тут рядом что-то явственно вздыхает и стонает.

Теперь остановился и калиф и тоже отчетливо услышал тихий стон, скорее человеческий, нежели звериный.

Полный надежд, он устремился в ту сторону, откуда доносились стоны, но визирь ухватился клювом за его крыло и слезно молил не бросаться навстречу новым, неведомым опасностям. Но тщетно! У калифа и под оперением аиста билось отважное сердце, он вырвался, пожертвовав несколькими перышками, и бросился в один из темных переходов. Вскоре он очутился перед дверью, которая, казалось, была лишь притворена и откуда доносились стоны с легкими подвываниями. Он толкнул дверь клювом и в растерянности застыл на пороге. В полуразрушенном покое, куда падал скудный свет из решетчатого оконца, он увидел сидящую на полу ночную сову. Обильные слезы капали у нее из больших круглых глаз, а из кривого клюва вырывались хриплые стонания. Но, увидав халифа и его визиря, который успел тем временем тоже пробраться сюда, сова подняла радостный крик. Грациозно смахнув с глаз слезу коричневым, в крапинку, крылом, она, к изумлению калифа и его визиря, вскричала по-человечьи на чистом арабском языке:

— Добро пожаловать, господа аисты! Вы для меня добрый знак, что близко мое спасение, ибо через аистов ко мне придет большое счастье, как было мне некогда предсказано!

Когда калиф опомнился от изумления, он склонил свою длинную шею, поставил тонкие ноги в грациозную позицию и произнес:

— Ночная сова! Судя по твоим словам, мы обрели в тебе поварку по несчастью! Но увь! Ты тщетно надеешься, что мы несем тебе спасение, и сама убедишься в нашей беспомощности, когда услышишь нашу историю.

Ночная сова попросила рассказать ей все, и калиф принялся за рассказ, который уже нам известен.

IV

Когда калиф изложил сове свою историю, сова поблагодарила его и сказала:

— Послушай также мою историю и узнай, что я не менее несчастна, чем ты. Мой отец — владыка Индии; я его единственная, злосчастная дочь, зовусь Лузой.

Тот самый волшебник Кашнур, что заколдовал вас, поверг в беду и меня. Он явился однажды к моему отцу сватавать меня для своего сына Мицры. Но отец мой, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы.

Злодей изловчился пробраться ко мне в другом обличий, и, когда я у себя в саду пожелала как-то утолить жажду прохладительным напитком, он, переодевшись рабом, поднес мне питье, которое превратило меня в это гадкое чудовище. Когда я от испуга лишилась чувств, он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул мне в ухо: «Оставайся тут уродом, презираемым даже зверями, до конца твоих дней или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле пожелает сделать тебя своей супругой даже в этом отвратительном облике. Такова моя месть тебе и твоему высокомерному отцу».

С тех пор протекли долгие месяцы. Одиноко и печально живу я опшельницей в этих развалинах, отринутая всем миром, мерзкая даже зверям; красоты природы недоступны мне, ибо я слепа днем, и лишь когда бледный свет месяца озаряет эти развалины, пелена спадает у меня с глаз.

Сова кончила и опять отерла крылом глаза, ибо повесть ее спрадааний испоргла у нее новые слезы.

Во время рассказа принцессы калиф погрузился в глубокое раздумье.

— Либо я ничего не смыслю, — произнес он, — либо между нашими несчастьями имеется тайная зависимость; но где мне найти ключ к этой загадке?

Сова отвечала ему:

— О господин мой, у меня поже такое предчувствие, ибо когда-то, в ранней юности, одна мудрая женщина предсказала мне, что большое счастье придет ко мне через аиста, и мне кажется, я знаю способ, как нам спастись.

Калиф был очень удивлен и спросил, каков же этот способ.

— Волшебник, принесший несчастье нам обоим, каждый месяц является сюда. Неподалеку от этой комнаты есть зала. Там он обычно пирует с большой компанией. Я не раз уже подслушивала их. Они рассказывают друг другу свои гнусные деяния; быть может, на этот раз он произнесет то слово, что вы забыли.

— О бесценная принцесса, — вскричал калиф, — поведай же, когда он является и где та зала.

Сова помолчала минутку и затем произнесла:

— Не прогневайтесь на меня, но лишь при одном условии могу я исполнить ваше желание.

— Говори же! Говори! — вскричал Хасид. — Приказывай, я готов на все.

— Дело в том, что и мне бы поже хотелось освободиться, но это возможно лишь, если один из вас возьмет меня в жены.

Аисты были, по-видимому, несколько смущены таким предложением, и калиф кивнул своему слуге, чтобы тот вышел с ним из комнаты.

— Великий визирь, — произнес калиф за дверью, — дельце не из приятных, но вы бы все-таки могли согласиться.

— Ах, так? — возразил топ. — Чтобы жена, когда я вернусь домой, выцарапала мне глаза? К тому же я спарик, а вы человек молодой и холостой, — скорей уж вам подобает жениться на молодой и прекрасной принцессе.

— То-то и есть, — вздохнул калиф, печально опустив крылья, — откуда ты взял, что она молода и прекрасна? Это называется — сделка вслепую!

Они долго еще уговаривали друг друга, но под конец, когда калиф увидел, что его визирь скорее готов остаться аистом, чем жениться на сове, он решился сам выполнить условие. Сова была весьма обрадована. Она открыла им, что явились они в самое подходящее время, по всей вероятности, именно в эту ночь состоится сборище волшебников.

Она, вместе с аистами, покинула комнату, чтобы провести их к той зале; они долго шли темной галереей, пока навстречу им из полуразрушенной стены не блеснул свет. Когда они приблизились туда, сова наказала им не шуметь. Через отверстие в стене, подле которого они стояли, им была видна вся обширная зала. Она была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяло дневной свет. Посреди залы находился большой круглый стол, уставленный изысканными яствами. Вокруг всего стола пяннулся диван, на котором сидело восемь человек. В одном из них аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать последние его похождения. И он, наряду с другими, рассказал также историю калифа и его визиря.

— Что же за слово ты им задал? — спросил один из волшебников.

— Очень трудное латинское слово — мутабор.

V

Услышав это через щель в стене, аисты прямо обезумели от радости. Они помчались к выходу из руин так быстро, как только несли их длинные ноги, и сова едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, калиф прочувствованно произнес, обращаясь к сове:

— Спасительница моей жизни и жизни моего друга, в знак вечной признательности за то, что ты сделала для нас, позволь мне быть твоим супругом!

Вслед за тем он повернулся на восток, и прижды склонили оба аиста длинные шеи навстречу солнцу, как раз встававшему из-за горной гряды.

— Мутабор! — вскричали они, мигом обернулись людьми, и, преисполненные великой радости от вновь дарованной жизни, господин и слуга, плача и смеясь, бросились в объятия друг другу. Но каково было их изумление, когда они оглянулись. Прекрасная дама, пышно разодетая, стояла перед ними. Улыбаясь, протянула она руку калифу.

— Разве вы не узнаете свою ночную сову? — спросила она.

То в самом деле была она; калиф, восхищенный ее красотой и грацией, вскричал, что он стал аистом на свое счастье.

Все трое тут же отправились в Багдад. Калиф обнаружил у себя за поясом не только коробочку с волшебным порошком, но и кошелек с деньгами. В ближайшем селении приобрел он все, что требовалось им для путешествия, и, таким образом, они вскоре прибыли к воротам Багдада. Там прибытие калифа вызвало великое удивление. Его объявили умершим, и поэтому народ был весьма обрадован, вновь обретя своего возлюбленного повелителя.

Тем живее возгорелся народный гнев против обманщика Мицры. Толпы народа бросились во дворец и захватили старого волшебника вместе с

сыном. Старика калиф отправил в ту самую горницу разрушенного замка, где обитала принцесса, будучи совой, и велел его там повесить. Сыну же, ничего не смыслившему в колдовском искусстве отца, калиф предложил на выбор — либо смерть, либо понюшку. Когда тот избрал последнее, великий визирь поднес ему коробочку. Он нюхнул хорошенько и, по волшебному слову калифа, превратился в аиста. Калиф приказал запереть его в железную клетку и поставить у себя в саду.

Долго и радостно жил калиф Хасид; самые для него веселые часы были те, когда к нему под вечер приходил великий визирь; они часенъко вспоминали свои приключения в бытность аистами, а когда калифу случалось очень развеселиться, он снисходил до того, что изображал великого визиря в образе аиста. Степенно, не сгибая ног, шагал он по комнате, прещал что-то, размахивал руками, точно крыльями, и показывал, как тот тщетно кланялся на восток и выкликал «му-му». Госпожу калифшу и ее деток это представление всегда немало развлекало; но если калиф чересчур долго прещал, и кланялся, и кричал «му-му», визирь, улыбаясь, грозил ему рассказать госпоже калифше, о чем шел спор за дверью принцессы ночной совы.

Когда Селим Барух закончил свой рассказ, купцы выразили полное удовлетворение.

— В самом деле, день прошел совсем для нас незаметно! — сказал один из них, откидывая полотно шатра. — Вечерний ветер навевает прохладу, мы успеем пройти еще порядочный кусок пути.

Спутники его согласились с ним; шатры были сложены, и караван, выстроившись в том же порядке, в каком пришел сюда, пронулся в путь.

Они ехали чуть не всю ночь напролет, потому что днем их одолевала жара, ночь же была свежа и сияла звездами. Наконец они достигли удобного для привала места, разбили шатры и улеглись на покой. О незнакомце

купцы заботились так, словно он был им желаннейшим гостем. Один одолжил ему подушки, другой покрывала, третий дал рабов — словом, он был устроен не хуже, чем у себя дома. Когда они поднялись, наступило уже самое жаркое время дня, и они единодушно порешили дожидаться здесь вечера. После совместной трапезы они снова сдвинулись теснее, и молодой купец, обращаясь к самому старшему, сказал:

— Селим Барух помог нам вчера приятно скоротать день; что, если бы и вы, Ахмет, рассказали нам либо какую-нибудь историю из своей долгой жизни, которая наверняка насчитывает немало приключений, либо просто забавную сказку?

В ответ на это обращение Ахмет некоторое время молчал, словно выбирая, на чем остановиться, и наконец заговорил:

— Дорогие друзья! Во время этого нашего путешествия вы показали себя верными поварищами, да и Селим тоже заслужил мое доверие; поэтому я поведаю вам одно событие из моей жизни, о котором я обычно говорю неохотно и не со всяким: это будет рассказ о корабле привидений.

Рассказ о корабле привидений

Мой отец держал в Бальсоре маленькую лавочку, не будучи ни бедным, ни богатым, он принадлежал к тем людям, которые неохотно идут на риск, из страха потерять то малое, что имеют. Он воспитал меня в простоте и прямоте и добился того, что я с юных лет мог стать ему помощником. Как раз когда мне исполнилось восемнадцать лет, он решился на первую крупную торговую сделку, но вскоре умер, вероятно, от тревоги, что доверил морю тысячу золотых. Спустя несколько недель пришла весть о гибели корабля, на который отец мой погрузил свои товары, и мне

осталось только порадоваться, что отца нет в живых. Но моей юношеской отваги эта беда не сломила. Обратив в деньги все имущество, оставшееся после отца, я в сопровождении верного слуги, который, по старой привязанности, хотел до конца разделить мою судьбу, пустился в путь искать счастье на чужбине.

С попутным ветром отплыли мы из Бальсорской гавани. Корабль, на котором я приобрел себе место, направлялся в Индию. Около двух недель мы плыли по спокойному морю, как вдруг капитан сообщил нам о приближающейся буре. Вид у него был озабоченный, в этой местности он явно недостаточно хорошо знал фарватер, чтобы спокойно идти навстречу буре. Он приказал убрать все паруса, и мы медленно поплыли по течению. Наступила ночь, ясная и холодная, и капитан подумал было, что ошибся, предсказывая бурю. Вдруг, совсем близко от нас, пронесся корабль, которого мы раньше не видали. С его палубы к нам долетели крики дикого веселья, которые меня в этот страшный час перед бурей изрядно удивили. Но капитан, стоявший подле меня, смертельно побледнел. «Мой корабль погиб! — воскликнул он. — То плывет сама смерть!» Не успел я попросить у него объяснения этого странного возгласа, как к нам с воем и криком бросились матросы. «Видели вы его? — кричали они. — Теперь нам крышка». Капитан же велел читать душеспасительные изречения из Корана и сам взялся за руль. Но тщетно! Откуда ни возьмись, налетела буря, и не прошло даже часа, как корабль наш задрожал и застыл на месте. Тотчас же на воду были спущены лодки, и едва успели все до единого матроса спастись, как на наших глазах корабль затонул, и я совершенно нищим очутился в открытом море. Но бедствия этим не кончились. Буря бушевала все сильнее, и управлять лодкой оказалось невозможным. Я крепко обнял своего старого слугу, и мы поклялись держаться друг за друга до последней минуты. Наконец забрезжил рассвет; с первым проблеском зари ветер

подхватил нашу лодку и опрокинул ее. Так я больше и не видал никого из экипажа корабля. От падения я лишился чувств; я пришел в себя в объятиях моего верного старого слуги, который спасся на опрокинутой лодке и впащил меня за собой. Буря утихла. Нашего корабля не было и в помине, но мы увидели неподалеку другой корабль, к которому нас несло волнами. Когда мы подплыли ближе, я узнал в нем тот самый корабль, который ночью промчался мимо нас и привел в такой ужас капитана. При виде этого корабля меня охватил неизъяснимый трепет; предсказание капитана, столь ужасно оправдавшееся, безлюдие на корабле, откуда при нашем приближении, несмотря на все оклики, никто не отзывался, внушали мне страх. Но то была единственная возможность спастись, и мы возблагодарили пророка, который послал нам столь чудесное избавление. С носа корабля свисал длинный канат. Работая изо всех сил ногами и руками, подплыли мы к нему, чтобы за него ухватиться. Наконец нам это удалось. Я возвысил голос до крика, но на корабле по-прежнему царила тишина. Тогда мы стали взбираться вверх по канату, — я, как младший, впереди. Но, о ужас! Что за зрелище представилось моим взорам, когда я взошел на палубу! Весь пол был залит кровью, двадцать или тридцать трупов в турецких одеждах лежали распостертые на полу; у грот-мачты стоял богато одетый человек с ятаганом в руке, но лицо у него было бледное и искаженное; воткнутым в лоб большим гвоздем он был приколот к мачте и поже мертв. Испуг сковал мне ноги, я не смел вдохнуть. Наконец наверх взобрался и мой спутник. И его поверг в ужас вид палубы, где не было ничего живого, — всюду одни лишь страшные трупы. Затем, обратившись в своем смятении с молитвой к пророку, мы решились идти дальше. После каждого шага мы оборачивались, не покажется ли что-нибудь новое, еще более страшное, но все оставалось по-прежнему: куда ни глянь, вокруг ничего живого, только мы да океан. Даже говорить громко мы не смели из страха,

что пригвожденный к мачте мертвый капитан обратит к нам взгляд своих неподвижных глаз либо один из убитых повернет голову в нашу сторону. Наконец мы добрались до лестницы, ведущей в пюм. Мы невольно остановились и взглянули друг на друга: ни один из нас не решался высказать свои мысли вслух.

«О господин! — заговорил наконец мой верный слуга. — Здесь случилось нечто ужасное. Но если даже там внизу полно убийц, я скорее готов сдатьсь на их милость, чем оставаться дольше тут с мертвецами». Так же думал и я. Мы собрались с духом и, прелеща от ожидания, стали спускаться по лестнице. Но и внизу была мертвая тишина, только гулко отдавался звук наших шагов. Мы остановились перед дверью в каюты. Я приложил ухо к двери и прислушался, но все было тихо. Я отворил дверь. В каюте царил беспорядок. Повсюду вперемежку валялись одежда, оружие и другие предметы. Все было расшвыряно как попало. По-видимому, экипаж или по меньшей мере капитан недавно бражничал здесь, потому что даже со стола не было убрано. Мы пошли дальше из каюты в каюту, из одного помещения в другое, — всюду мы находили обильные запасы шелка, жемчуга, сахара и прочего. Я не помнил себя от радости при виде такого богатства, ибо, раз на корабле никого не было, я полагал, что могу все считать своим. Однако Ибрагим напомнил мне, что мы, по всей вероятности, находимся еще очень далеко от земли и что одним нам, без посторонней помощи, до нее не добраться.

Мы подкрепились яствами и напитками, которые нашлись здесь в изобилии, и вернулись на палубу. Но тут нас снова мороз пробрал по коже при жутком зрелище трупов. Мы решили избавиться от них, выбросив их за борт, но какой ужас охватил нас, когда мы убедились, что ни одного из них сдвинуть с места нельзя! Они были точно прикованы к полу, и, чтобы их удалить, пришлось бы выломать доски из палубы, но для этого у нас не

было инструментов. И капитана тоже не удалось оторвать от его мачты; даже вынуть у него из застывшей руки ятаган мы не могли.

День мы провели в печальных размышлениях о нашей доле, а когда стала приближаться ночь, я позволил старику Ибрагиму лечь спать, сам же решил оставаться на палубе, высматривая, не появится ли помощь. Но когда взошел месяц и я по звездам высчитал, что время приближается к одиннадцати, меня стал одолевать сон, и я помимо своей воли свалился за бочку, стоявшую на палубе. Но то было скорей забытье, нежели сон, потому что я отчетливо слышал, как билось море о борта корабля, а паруса скрипели и свистели под ветром. Вдруг мне послышались на палубе мужские голоса и шаги. Я хотел приподняться и выглянуть, но незримая сила сковала мне члены, — даже глаза я не мог приоткрыть. А голоса становились все отчетливей; мне чудилась веселая возня матросов на палубе, сквозь шум я различал чей-то громкий повелительный голос, кроме того, я отчетливо слышал, как подтягивались канаты и крепились паруса. Но мало-помалу сознание мое помутилось, я впал в глубокий сон, сквозь который мне мерещился лязг оружия; проснулся я, только когда солнце стояло уже высоко в небе и жгло мне лицо. С удивлением озирался я по сторонам; буря, мертвецы и все, что я слышал этой ночью, представилось мне сном; но когда я взгляделся, все было по-вчерашнему. Неподвижно лежали мертвецы, неподвижно стоял пригвожденный к мачте капитан. Я посмеялся над своим сном и встал, чтобы отыскать моего старика.

Он сидел в каюте, погруженный в размышления. «О господин, — воскликнул он, когда я вошел туда, — я предпочел бы лежать на самом дне моря, чем провести еще одну ночь на этом бесовском корабле!» Я спросил его о причине такого отчаяния, и он ответил мне: «Проспав несколько часов, я проснулся и услышал над головой какую-то беготню. Сперва я подумал было, что это вы, но нет, — там топталось не меньше двадцати

человек, и, кроме того, ко мне доносились оклики и крики. Наконец тяжелые шаги раздались и на лестнице. Тут в голове у меня все смешалось; лишь минутами сознание возвращалось ко мне, и я видел, как топт самый человек, что пригвожден наверху к мачте, сидел здесь за столом, пел и пил вино, а топт, в пунцовом кафтане, что лежит на палубе неподалеку от него, сидел рядом и пил вместе с ним». Так рассказывал мой старый слуга.

Вы легко поймете, друзья, каково было у меня на душе, — обмана чувств тут быть не могло, ведь и я опчепливо слышал возню мертвецов. Плыть на корабле в такой компании казалось мне ужасным. А Ибрагим мой снова погрузился в глубокие думы. «Вспомнил!» — наконец вскричал он. Ему пришло на ум заклинание, которому научил его дед, человек бывалый и много путешествовавший, и которое помогало против колдовства и наваждений; кроме того, мой старый слуга уверил меня, что, усердно читая молитвы из Корана, мы одолеем на следующую ночь топт неестественный сон, который охватывал нас. Предложение старика пришлось мне по душе. С тревогой ждали мы приближения ночи. Подле каюты капитана был чуланчик; там мы решили спрятаться. Мы просверлили в дверях несколько дыр, достаточно больших, чтобы видеть сквозь них всю каюту; затем мы крепко-накрепко заперли дверь изнутри, и Ибрагим написал на всех четырех углах имя пророка. Так мы спали дожидаться ужасов ночи. И опять около одиннадцати часов меня неудержимо спало клонить ко сну. Мой слуга посоветовал мне прочесть несколько молитв из Корана, что мне действительно помогло. Вдруг наверху проснулась жизнь; канаты заскрипели, на палубе раздались шаги, и до нас явственно долетели голоса. Некоторое время мы просидели в напряженном ожидании, как вдруг услышали, что кто-то спускается по лестнице в каюту. Тут старик начал произносить заклятие против привидений и колдовства, которому научил его дед:

*Летаете ли вы на просторе,
Скрываетесь ли под землей,
Таитесь ли в недрах вы моря,
Кружит ли вас вихрь огневой, —
Аллах ваш творец и властитель,
Всех духов один повелитель.*

Должен сознаться, что я не очень верил в это заклинание, и когда дверь раскрылась, волосы у меня встали дыбом. В каюту вошел потп высокий спатный человек, которого я видел пригвожденным к мачте. Гвоздь и пеперь торчал у него посреди лба, но япаган он вложил в ножны; за ним вошел еще один, одетый менее богато, и его я видел лежащим наверху. Первый был, бесспорно, капитан, бледное лицо его обрамляла длинная черная борода; дико вращая глазами, оглядывал он каюту. Я хорошо рассмотрел его, когда он проходил мимо; он же, по-видимому, не обращал никакого внимания на дверь, за которой мы скрывались. Он и его спутник уселись за стол посреди каюты и заговорили на незнакомом нам языке громким, почти доходящим до крика голосом. Голоса их становились все громче и яростней, пока наконец капитан не ударил кулаком по столу так, что стены задрожали. С диким хохотом вскочил его собеседник и кивнул капитану, чтобы потп следовал за ним. Капитан поднялся поже, выхватил япаган из ножен, и оба покинули каюту. Мы вздохнули свободней, когда они ушли; но спрахам нашим долго еще не суждено было кончиться. На палубе становилось все шумней и шумней. Оттуда доносилась беготня, слышались крики, смех и вой. В конце концов шум перешел в адский грохот, казалось, словно палуба со всеми парусами обрушивается на нас; раздался звон оружия, крик — и внезапно опять наступила мертвая пишина. Когда

спустя несколько часов мы решились подняться наверх, но все было по-прежнему: мертвецы лежали, как и раньше, неподвижные и одеревенелые.

Так провели мы на корабле несколько дней: корабль подвигался в направлении к востоку, где, по моему расчету, должна была находиться земля, но если за день он и проходил порядочное расстояние, то ночью, видимо, возвращался вспять, ибо при восходе солнца мы оказывались всегда на прежнем месте. Объяснить себе это мы могли только одним: что мертвецы по ночам плыли на всех парусах обратно. Чтобы это предотвратить, мы до наступления ночи подвязали паруса и применили уже испытанное однажды средство — мы написали на пергаментном свитке имя пророка, прибавили к этому дедовское заклинание и обернули свитком связанные паруса. С пререпетом ждали мы у себя в каморке, что будет дальше. Призраки в эту ночь неистовствовали еще сильнее, но, глядь! На следующее утро паруса были подвязаны так же, как мы их оставили. Теперь, в течение дня, мы стали распускать столько парусов, сколько требовалось, чтобы корабль не спеша двигался вперед, и таким образом за пять дней прошли порядочное расстояние.

Наконец утром шестого дня мы увидели невдалеке землю и возблагодарили Аллаха и его пророка за наше чудесное спасение. Весь этот день и следующую ночь мы плыли вдоль берега, а на седьмое утро обнаружили невдалеке город. С большим трудом нам удалось бросить якорь, который тотчас же укрепился; затем мы спустили на воду стоявшую на палубе лодку, налегли на весла и поплыли к городу. Спустя полчаса мы вошли в реку, впадавшую в море, и поднялись на берег. У городских ворот мы осведомились, как называется город, и узнали, что город этот индийский; находится он поблизости от той местности, куда я первоначально собрался плыть. Мы отправились в караван-сарай и подкрепились после своего необычайного путешествия. Там же я поспешил разузнать, как мне

найми мудрого и ученого человека, и при этом дал понять хозяину, что нужен мне такой человек, который сведущ в колдовстве. Он привел меня в отдаленную улицу, к невзрачному домику, постучался, а когда меня впустили, наказал мне спросить Мулея.

В доме меня встретил седобородый старичок, с длинным носом, и спросил, чего я желаю. Я сказал, что ищу мудрого Мулея, и он мне ответил, что он и есть Мулей. Тут я спросил у него совета, как мне поступить с мертвецами и каким способом убрать их с палубы.

Он ответил мне, что магросы, верно, осуждены плавать по морю за какое-нибудь злодеяние. Он полагает, что чары рассеются, как только мертвецов перенесут на землю; но снять их можно лишь вместе с досками, на которых они лежат. Корабль же со всеми его богатствами принадлежит мне перед богом и законом, ибо я его как бы нашел; но все это я должен хранить в глубокой тайне; и если я ему сделаю маленький подарочек от своих излишков, то он вместе со своими рабами поможет мне вынести мертвецов. Я обещал щедро наградить его, и мы отправились в путь, взяв с собой пятерых рабов, снабженных пилами и топорами. По дороге колдун Мулей не мог надивиться, как удачно мы придумали перевить паруса изречениями из Корана. Он сказал, что это для нас было единственным средством спасения. Солнце стояло еще высоко, когда мы добрались до корабля. Мы все дружно принялись за работу, не прошло и часа, как четверо мертвецов лежали уже в челноке. Рабам было приказано перевезти их на землю и там похоронить. Вернувшись, они рассказали, что мертвецы избавили их от трудностей погребения, ибо, будучи положены на землю, они тотчас же обратились в прах. Мы продолжали выпиливать доски и к вечеру перевезли на землю всех мертвецов. Наконец на борту остался лишь топ, что был пригвожден к мачте. Тщетно старались мы выпалить гвоздь из дерева, никакой силой не удалось выдвинуть его хотя бы на волосок. Я не

знал, как быть, нельзя же было срубить мачту, чтобы перенести капитана на землю. Но из этой беды меня поже выручил Мулей. Он спешно отправил одного из рабов на берег, приказав ему привезти горшок с землей. Когда горшок был принесен, колдун пошептал над ним какие-то таинственные слова и высыпал землю на голову мертвеца. Тот немедленно открыл глаза, глубоко вздохнул, и рана от гвоздя у него на лбу стала кровотоцить. Теперь мы без труда вынули гвоздь, и раненый упал на руки одного из рабов.

— Кто привел меня сюда? — спросил он, очнувшись. Мулей указал на меня, и я подошел к нему по ближе. — Благодарю тебя, неведомый чужестранец, ты спас меня от долгих мучений. Уже пятьдесят лет мое тело плавает по этим волнам, а дух мой был осужден возвращаться в него каждую ночь. Но теперь головы моей коснулась земля, я получил опущение и могу удалиться к праотцам.

Я просил его рассказать нам, в чем причина его мытарств, и он заговорил:

— Пятьдесят лет тому назад я был влиятельным, именитым человеком и жил в Алжире; страсть к наживе побудила меня снарядить корабль и заняться пиратством. Я промышлял этим ремеслом уже некоторое время, когда в Занте на корабль ко мне сел один дервиш, которому хотелось проехать бесплатно. Мы с товарищами были люди грубые и ни во что не ставили святость дервиша; я даже позволял себе насмехаться над ним. Однажды он, в благочестивом рвении, осудил мой греховный образ жизни; ночью, во время выпивки с моим штурманом, я вспомнил его слова и вскипел от гнева. Разъяренный тем, что какой-то дервиш осмелился сказать мне слова, которых я не потерпел бы даже от султана, я бросился на палубу и вонзил ему в грудь кинжал. Умирая, он проклял меня и мой экипаж, сказав, что нам не дано ни жить, ни умереть, пока мы не коснемся головой земли. Дервиш умер, мы бросили его в море и посмеялись над его

угрозами. Но слова его сбылись в ту же самую ночь. Часть моего экипажа возмутилась против меня. Произошла яростная схватка; мои приверженцы были побеждены, и мятежники пригвоздили меня к мачте. Но и они погибли от полученных ран, и скоро весь мой корабль представлял собой большую могилу. У меня поже помутилось в глазах, дыхание остановилось, я думал, что умираю. Но то было лишь оцепенение, сковавшее меня. На следующую ночь, в тот самый час, когда мы бросили дервиша в море, все мы пробудились. Жизнь вернулась, но говорить и делать мы могли лишь то, что говорили и делали в роковую ночь. Так мы плаваем уже целых пятьдесят лет — не можем ни жить, ни умереть, ибо как нам было достичь земли? С безумной радостью распускали мы все паруса каждый раз, как начиналась буря, надеясь разбиться об утесы и найти усталой голове покой на дне моря. Но это нам не удавалось. Теперь же наконец я умру. Еще раз благодарю тебя, мой неведомый спаситель! Если сокровища могут тебя вознаградить, возьми мой корабль в знак моей признательности.

Сказав это, капитан поник головой и испустил дух. Тотчас и он превратился в прах, как его спутники. Мы собрали прах в ящичек и закопали его в землю; в городе я нашел рабочих, которые починили мой корабль. С большой прибылью выменяв те повары, что имелись у меня на борту, на другие, я нанял матросов, щедро одарил моего друга Мулея и направился к себе на родину. Однако плыл я не прямым путем, а приставал к разным островам и странам, продавая свои повары. Пророк благословил мое начинание. Спустя девять месяцев я прибыл в Бальсору, удвоив наследство, полученное от умершего капитана. Мои сограждане немало удивились моим богатствам и моей удаче и полагали, что я, наверное, нашел алмазную пещеру знаменитого морехода Синдбада. Я не стал разубеждать их; но с тех пор все бальсорские юноши, едва достигнув восемнадцати лет, пускались в странствия, чтобы, подобно мне, найти

свое счастье. А я жил спокойно и мирно и каждые пять лет совершал путешествие в Мекку, дабы возблагодарить в святых местах господ за его милости и умолишь его, чтобы он принял к себе в рай капитана и его поварищей.

На следующий день караван беспрепятственно продолжал свой путь, и, когда все хорошенько отдохнули на привале, чужестранец Селим обратился к Мулею, младшему из купцов, с такой речью:

— Хоть вы годами и моложе нас всех, но вы всегда веселы и наверное храните в памяти не одну забавную историю. Угостите нас ею, дабы мы освежились после дневного зноя.

— Я охотно потешил бы вас каким-нибудь рассказом, однако молодости приличествует быть скромной во всем; и посему я не хочу опережать своих старших спутников. Цалевкос всегда так мрачен и замкнут, — почему бы ему не рассказать нам, что омрачило его жизнь? Если у него есть горе, может спасться, мы придем ему на помощь, ибо мы всегда готовы служить брату, будь он даже чужой веры.

Тот, к кому обращалась эта речь, был греческий купец, человек средних лет, красивый и здоровый, но очень сумрачный. Хоть он и был неверным (немусульманином), однако сумел внушить спутникам доверие и уважение к себе. Между прочим, у него была только одна рука; некоторые из его спутников подозревали, что именно это несчастье настраивает его на мрачный лад.

На участливый вопрос Мулея Цалевкос отвечал:

— Ваше участие очень лестно для меня; горя у меня нет, по крайней мере, такого, в котором вы, при самых благих намерениях, могли бы помочь мне. Однако, раз Мулей как будто ставит мне в упрек мой мрачный вид, я расскажу вам нечто, могущее объяснить, почему я кажусь мрачнее других людей. Вы видите, что я потерял левую руку: я лишен ее не от рождения, а

поплатился ею в самые тяжёлые дни моей жизни. Моя ли в том вина, и прав ли я, что стал с тех пор мрачнее, чем подобает моему положению, вы рассудите сами, когда услышите рассказ об отрубленной руке.

Рассказ об отрубленной руке

Родился я в Константинополе. Отец мой был драгоманом при Порте и попутно вел довольно прибыльную торговлю ароматическими маслами и шелками. Он дал мне хорошее воспитание, отчасти сам обучая меня, отчасти поручив мое образование одному из наших священнослужителей. Вначале он прочил меня в свои преемники по торговле, но когда я стал проявлять недюжинные способности, он, по совету друзей, решил сделать из меня врача, — ибо врач, когда он менее невежествен, чем обычные шарлатаны, легко преуспевает в Константинополе. У нас в доме бывало много франков, и один из них уговорил отца послать меня к нему на родину, в город Париж, где этому ремеслу обучают лучше всего и при том даром; сам он, возвращаясь домой, брался бесплатно отвезти меня туда. Мой отец, тоже путешествовавший в молодости, изъявил согласие, и франк сказал мне, чтобы я был готов в путь через три месяца. Я не помнил себя от радости, что увижу чужие края, и не мог дожидаться минуты, когда мы погрузимся на корабль. Наконец франк закончил свои дела и собрался в дорогу. Вечером, накануне отъезда, отец повел меня к себе в спальню; там я увидел прекрасную одежду и оружие, разложенные на столе. Но еще более привлекала мой взор большая куча червонцев, — я никогда до той поры не видал их в таком множестве.

Отец обнял меня и сказал:

— Взгляни, сын мой, какую я приготовил тебе в дорогу одежду. И оружие поже предназначается тебе. Это самое оружие твой дед надел на меня, когда я отправлялся на чужбину. Я знаю, ты умеешь владеть им; но никогда не пускай его в ход иначе как для защиты, — но тогда бей всюю. Состояние мое невелико; взгляни — я поделил его на три части; одна принадлежит тебе, вторая пойдет мне на обеспечение в случае нужды, третья же будет для меня священна, — пусть она хранится про черный день тебе. — Так говорил мне старик отец, и слезы стояли у него в глазах — быть может, он предчувствовал, что мы не увидимся более.

Путешествие сошло благополучно; вскоре мы прибыли в страну франков, а через шесть дней пути очутились в большом городе Париже. Здесь мой франкский друг нанял мне комнату и посоветовал бережно расходовать мой капитал, составлявший в общем две тысячи талеров, Я прожил в том городе три года и учился всему, что надлежит знать искусному врачу, однако я бы солгал, сказав, что пребывание там было мне приятно, ибо тамошние нравы не пришлись мне по вкусу, а настоящих друзей я приобрел немного, но это были весьма достойные молодые люди.

Тоска по родине под конец совсем одолела меня, за все время я ничего не слышал о своем отце, и потому поспешил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы возвратиться домой.

Дело в том, что из страны франков в Оттоманскую Порту отправлялось посольство. Я поступил в качестве хирурга в свиту посла и счастливо добрался до Стамбула. Но отеческий дом мой был заперт; соседи очень удивились, увидав меня, и сказали мне, что отец мой умер два месяца тому назад. Тот священник, что обучал меня в мои юные годы, принес мне ключ; одинокий и осиротелый, поселился я в пустынном доме. Все оказалось на тех же местах, как было при отце, — только денег, которые обещал оставить мне отец, я не нашел. Я спросил о них священника, и тот с

поклоном ответил: «Отец ваш скончался святым человеком, завещав свое состояние церкви». Это было и осталось для меня непостижимым, но что мог я поделаться? Свидетелей пропив священника я выставить не мог, и мне приходилось только радоваться, что он не забрал заодно также и дом и повары моего отца. Это было первое несчастье, поразившее меня. Но вслед за тем посыпался удар за ударом. Как врач я не мог завоевать известность, потому что стыдился быть шарлапаном и не имел поддержки отца, который ввел бы меня в самые знатные и богатые дома, закрытые теперь для горемыки Цалевкоса. И повары отца тоже не находили сбыта, ибо покупатели рассеялись после его смерти, а новые скоро не приобретаются. Однажды я горько призадумался над своей участью, и путь мне пришло в голову, что в стране франков я нередко видел моих соотечественников, которые бродили из края в край, предлагая свои повары на городских базарах; я припомнил, что покупали у них как у иноземцев охотно и что при такой торговле нетрудно нажить огромные барыши. Мое решение было тотчас принято. Я продал отеческий дом, часть вырученных денег отдал на хранение надежному другу, а на остальные закупил редкостные в стране франков повары, как-то: шали, шелковые ткани, припиранья и масла; приобрел себе место на корабле и пустился во второе плавание к стране франков. Едва дарданельские укрепления остались позади, как счастье, по видимому, вновь улыбнулось мне. Путь наш был краток и благополучен. Я пошел бродить по большим и малым городам франков и всюду находил покладистых покупателей. Друг мой все время слал мне из Стамбула новые повары, и я день ото дня становился богаче. Скопив наконец достаточно, чтобы отважиться на более крупное предприятие, я отправился со своими поварами в Италию. Тут я должен признаться, что добывал деньги еще другим путем, а именно своим врачебным искусством. Едва я приезжал в какой-нибудь город, как оповещал объявлениями, что прибыл греческий

врач, исцеливший множество больных; и, надо сказать, мой бальзам и мои снадобья принесли мне немало цехинов. Так я в конце концов добрался до итальянского города Флоренции. Я решил подольше пожить в этом городе, отчасти потому, что он пришелся мне по вкусу, отчасти же потому, что мне хотелось отдохнуть от утомительных странствий.

Я нанял себе лавку в квартале Санта Кроче и в практире, неподалеку от пуда, две хороших комнаты с балконом. Немедленно же я разослал людей с объявлениями, оповещающими обо мне как о купце и целителе. Не успел я открыть свою лавку, как покупатели хлынули толпой, и хоть цены у меня были довольно высокие, но торговал я лучше других, потому что держал себя обходительно и приветливо с покупателями. Так я счастливо прожил уже четыре дня во Флоренции, как однажды вечером, собираясь запирасть лавку и, по своему обыкновению, проверяя запасы припираний в банках, я обнаружил в одной из них записку, которую сам я пуда не клал. Я развернул записку и нашел там приглашение явиться в ту ночь ровно в двенадцать часов на мост, называемый *Ponte Vecchio*¹. Я долго размышлял, кто бы это мог звать меня пуда, но ведь я не знал ни души во Флоренции и потому подумал, что меня, наверное, хопят повести тайком к больному, как это уже бывало не раз. Ипак, я решил отправиться пуда, захватив из предосторожности саблю, которую некогда подарил мне отец.

Когда время приблизилось к полуночи, я собрался в путь и вскоре очутился на *Ponte Vecchio*. Мост был совсем пустынен, но я решил ждать того, кто меня звал.

Ночь стояла холодная, луна сияла ярко, и я глядел на воды Арно, уносившие вдаль отражение лунного света. На городских колокольнях пробил двенадцать; я оглянулся и увидел перед собой высокого человека,

¹ Ponte Vecchio - Старый мост (ит.).

наглухо закутанного в красный плащ, краем которого он прикрывал себе лицо.

Сперва я очень испугался оттого, что он так внезапно очутился подле меня, но тотчас овладел собой и заговорил:

— Коли это вы позвали меня сюда, так скажите, что вам угодно?

Человек в красном повернулся и медленно произнес:

— Следуй за мной!

Тут уж мне показалось немного страшновато идти куда-то вдвоем с незнакомцем; я остановился и сказал:

— Подождите, сударь, извольте мне сперва сказать, куда надо идти; сообразуйте также открыть мне свое лицо, дабы я знал, что вы не замышляете против меня плохого.

Но красный человек не внял моим словам.

— Как тебе угодно, Цалевкос, не хочешь идти, оставайся! — ответил он и пошел дальше.

Тут я вспыхнул:

— Я не из тех, что позволяют любому дураку водить себя за нос; выходит, что я напрасно торчал здесь холодной ночью?

В припрыжку нагнал я его, схватил за плащ и, крича еще громче, взялся другой рукой за саблю; но плащ остался у меня в руке, а незнакомец исчез за ближайшим углом. Гнев мой мало-помалу остыл, — ведь плащ остался у меня, и с его помощью я, уж конечно, найду ключ к этой необычайной загадке. Я накинул плащ на себя и отправился домой. Едва я отошел шагов на сто, как кто-то проскользнул вплотную мимо меня и прошептал на франкском языке:

— Берегитесь, граф, нынче ночью ничего нельзя предпринять.

Но не успел я оглянуться, как неизвестный был уже далеко, и я увидел лишь тень, мелькавшую вдоль домов. Я сразу понял, что обращение

относилось не ко мне, а к плащу, но разъяснить оно мне ничего не могло. На следующее утро я принялся размышлять, как быть. Сперва я собирался объявить о находке плаща, но тогда незнакомец мог бы прислать за ним претье лицо, и я не получил бы желаемой разгадки. Обдумывая дело, я внимательно разглядывал плащ.

Он был из тяжелого гентского бархата пурпурного цвета, оторочен каракулем и богато заткан золотом. Великолепие плаща навело меня на мысль, которую я решил тотчас же привести в исполнение. Я отнес его к себе в лавку и выставил на продажу, но назначил за него такую высокую цену, какую никто, я был уверен, не согласится дать. Моим намерением было внимательно приглядываться ко всякому, кто пожелает купить его, ибо фигуру незнакомца, хоть и мимолетно, но явственно представшую передо мной без плаща, я бы узнал из тысячи. Охотников приобрести плащ такой необычайной красоты нашлось немало, но никто и отдаленно не походил на незнакомца и никто не хотел заплатить за него огромную цену в двести цехинов. Удивило меня также, что все, кого я спрашивал, есть ли еще такой плащ во Флоренции, отвечали отрицательно и уверяли, будто никогда не видали столь искусной и изящной работы.

Начинало смеркаться, когда наконец в лавку вошел молодой человек, не раз бывавший у меня и уже предлагавший в тот день большую цену за плащ; он швырнул на стол кошелек с цехинами и вскричал:

— Клянусь богом! Цалевкос, я готов разориться, только бы купить у тебя плащ. — И тут же принялся отсчитывать монеты. Я был в сильном замешательстве; выставил плащ лишь для того, чтобы привлечь к нему взоры незнакомца, а тут вдруг явился молодой глупец, который согласен выложить за него назначенную мной несуразную цену. Что мне было делать? Я согласился, ибо, с другой стороны, меня радовала мысль получить столь блестящее возмещение за ночное беспокойство. Юноша накинул плащ

и ушел; но с порога вернулся вновь и бросил мне бумажку, которая была приколота плащу, сказав:

— Смотри, Цалевкос, здесь прицеплено что-то, должно быть, не имеющее отношения к плащу.

Я равнодушно взял записку, но что я увидел! На ней стояло: «Нынче ночью в топ же самый час принеси плащ на Ponte Vecchio; четыреста цехинов ждут тебя». Я стоял как громом пораженный. Ипак, я сам упустил свое счастье и совершенно не достиг своей цели; не долго думая, я сгреб те двести цехинов, догнал юношу, купившего плащ, и обратился к нему:

— Заберите свои цехины, дружище, а мне оставьте плащ, я никак не могу отдать его.

Топ сперва принял все за шутку, но, увидав, что я не шучу, рассердился, обозвал меня дураком, и дело в конце концов дошло до драки. Однако мне посчастливилось вырвать у него в потасовке плащ, и я собрался уже пуститься наутек, когда юноша принялся звать полицию и потащил меня в суд. Судья был очень удивлен такого рода жалобой и присудил плащ моему противнику. Тогда я стал предлагать юноше двадцать, пятьдесят, восемьдесят и, наконец, сто цехинов, сверх его двухсот, только бы он отдал мне плащ. Чего я не мог добиться просьбами, того достиг деньгами. Он забрал мои кровные цехины, я же торжествующе удалился с плащом, прослав сумасшедшим на всю Флоренцию. Но людская молва не прогала меня, ведь я-то лучше знал, что выгода на моей стороне.

Нетерпеливо ждал я ночи. В то же время, что и вчера, отправился я с плащом под мышкой на Ponte Vecchio. С последним ударом часов из мрака вынырнула фигура и направилась ко мне.

То был бесспорно вчерашний незнакомец.

— Плащ при тебе? — спросил он меня.

— Да, сударь, — отвечал я, — но он обошелся мне в сто цехинов наличными.

— Знаю, — заметил пот. — Получай, тут четыреста.

Мы подошли вместе к широкому парапету моста, и он отсчитал мне монеты; их было четыреста; блеск их радовал мое сердце, — увы! — не подозревавшее, что то будет его последняя радость. Я спрятал деньги в карман и собрался внимательно разглядеть щедрого незнакомца, но он был в маске, из-за которой на меня грозно сверкали темные глаза.

— Благодарю вас за вашу доброту, сударь, — обратился я к нему, — что вам теперь угодно от меня? Однако скажу заранее: на дурное дело я не пойду.

— Напрасная тревога, — возразил он, накидывая себе на плечи плащ. — Мне нужна ваша помощь, как врача, но только не для живого, а для мертвеца.

— Как это возможно? — вскричал я в изумлении.

— Я прибыл с сестрой из дальних стран, — начал он, кивком приказав мне следовать за ним, — тут мы жили у одного из друзей нашей семьи. Моя сестра вчера скоропостижно скончалась, и родные хотяп завтра похоронить ее. Но, по нашему старому семейному обычаю, всем нам надлежит покоиться в фамильном склепе; многие, умершие в чужих краях, все же были на бальзамированы и перевезены туда. Родне я согласен оставить ее тело, но отцу я хочу привезти хоть голову его дочери, чтобы он в последний раз взглянул на нее.

Обычай отрезать головы близким родственникам, правда, покорбил меня, но я не осмелился возражать из страха обидеть незнакомца. Поэтому я сказал только, что хорошо умею бальзамировать мертвецов, и попросил его проводить меня к покойнице. Однако я не удержался от вопроса — почему все это происходит ночью и облечено такой тайной? Он отвечал

мне, что родных его намерение приводит в ужас и днем они стали бы препятствовать ему, но, когда голова уже будет опята, им поневоле придется смириться; он бы мог прямо принести мне голову, но вполне понятное чувство не позволяет ему самому отрезать ее.

Тем временем мы подошли к большому великолепному дому. Спутник мой указал мне на него как на цель нашей ночной прогулки. Мы миновали главный портал дома, вошли в маленькую дверцу, которую незнакомец тщательно затворил за собой, и поднялись в темноте по узкой винтовой лестнице. Она вела в скудно освещенную галерею, через которую мы достигли комнаты, где горела одна лампа под потолком.

В этом покое стояла кровать, на которой лежал труп. Незнакомец отвернулся, видимо скрывая слезы. Он указал мне на кровать, велел быстро и хорошо исполнить порученное мне дело и вышел из комнаты.

Я достал свои инструменты, которые в качестве врача всегда имел при себе, и приблизился к кровати. Видно было только лицо трупа, но оно показалось мне таким прекрасным, что меня невольно охватила глубокая жалость. Волосы ниспадали длинными прядями, — щеки были бледны, глаза сомкнуты. Сперва я сделал надрез по коже, как принято у врачей при ампутации какого-нибудь члена; затем взял самый свой острый нож и одним взмахом перерезал горло. Но, о ужас! — покойница открыла глаза и вновь с глубоким вздохом сомкнула их, словно лишь сейчас испустив дух. И одновременно из раны на меня брызнула струя горячей крови. Мне стало ясно, что бедняжку умертвил я, ибо в том, что она мертва, сомневаться не приходилось: от такой раны спасения быть не может. Несколько минут простоял я неподвижно, прелеща от содеянного. Значит, красный человек обманул меня? Или же сестра была в летаргическом сне? Последнее показалось мне вероятнее. Но я не решился бы сказать брату, что менее глубокий разрез мог разбудить ее, не убив, и потому решил совсем отнять

голову от пуловища; но умирающая застонала еще раз, судорожно выпянулась и умерла; тут страх одолел меня, и я в смятении кинулся вон из комнаты. Снаружи в галерее было темно: лампа погасла, спутник мой исчез, и мне пришлось на ощупь продвигаться вдоль стены, чтобы добраться до винтовой лестницы. В конце концов я набрел на нее и, скользя, спотыкаясь, спустился по ней. Внизу тоже не оказалось ни души. Дверца была лишь притворена, и я вздохнул с облегчением, очутившись на улице, ибо там, в доме, мне было совсем невмоготу. Подгоняемый страхом, бросился я к себе на квартиру и зарылся в постель, стремясь забыться после совершенного мной страшного дела. Но сон не приходил, и лишь утро принудило меня обратиться с мыслями. Я предполагал, что человек, толкнувший меня на такое страшное злодеяние, меня не выдаст. Я решил не мешкая отправиться к себе в лавку и заняться своим делом, приняв по возможности беспечный вид. Но увы! — новое обстоятельство, которое я обнаружил лишь сейчас, усугубило мою тревогу. Я не находил ни своей шапки, ни пояса, ни ножей и не мог припомнить, оставил ли я их в комнате убитой или растерял во время бегства. К несчастью, первая догадка была более правдоподобна, и, значит, меня легко могли уличить в убийстве.

В обычное время я открыл лавку. Сосед, как и каждое утро, не замедлил явиться ко мне, ибо он был человек общительный.

— Ну, что вы скажете, — начал он, — какое ужасное событие приключилось нынче ночью! — Я сделал вид, будто ничего не знаю. — Неужели вы не слышали того, о чем толкует весь город? Не слышали, что прекраснейший цветок Флоренции, Бианка, дочь губернатора, убита нынче ночью? Ах! Вчера еще я видел, как она, веселая, проезжала по улицам вместе с женихом, ведь на сегодня назначена их свадьба.

Каждое слово соседа, как острый нож, вонзалось мне в сердце, и пытка повторялась непрерывно, ибо каждый покупатель пересказывал мне эту

историю, уснащая ее подробностями, которые были одна ужаснее другой; но до того ужаса, который видел я сам, никто додуматься не мог. Среди дня ко мне в лавку вошел судейский чиновник и попросил меня удалить покупателей.

— Синьор Цалевкос, — произнес он, доставая потерянные мною вещи, — эти вещи принадлежат вам?

Я собрался было отказать от них, но, увидав в полуотворенную дверь своего хозяина и нескольких знакомых, которые могли бы свидетельствовать против меня, решил не отягощать своей вины еще и ложью и признал предъявленные мне вещи. Судейский чиновник предложил мне следовать за ним и привел меня в большое здание, оказавшееся пюрьюмой. Там он до поры до времени оставил меня в отдельном помещении.

Поразмыслив в одиночестве, я понял весь ужас своего положения. Мысль, что я убийца, — хоть и против воли, — не давала мне покоя; не мог я также утаить от себя, что блеск золота опуманил мне разум, иначе я так слепо не поддался бы обману.

Через два часа после ареста за мной пришли. Меня повели куда-то вниз по бесконечным лестницам, пока мы не очутились в большой зале. Там, вокруг длинного, покрытого черным стола, сидело двенадцать человек, преимущественно стариков. Вдоль стен залы шли скамьи, сплошь занятые именитыми флорентийцами; вверху, на галереях теснились обыватели. Когда я подошел к черному столу, из-за него поднялся человек с мрачным и скорбным лицом — то был губернатор. Он обратился к собранию со словами, что ему как отцу нельзя быть судьей в этом деле и потому он на сей раз уступает свое место старейшему из сенаторов. Старейший из сенаторов был старец, по меньшей мере девяностолетнего возраста; он стоял совсем согбенный, остатки седых волос ниспадали ему на виски, но

глаза еще пылали огнем и голос был тверд и уверен. Он начал с вопроса, признаюсь ли я в убийстве. Я попросил его выслушать меня; откровенно и внятно изложил я все, что сделал, и все, что знал. Я заметил, что во время моего рассказа губернатор то бледнел, то краснел; а когда я кончил, он вскочил в бешенстве.

— Как, негодяй! — крикнул он мне. — Ты еще хочешь свалить на другого злодеяние, совершенное тобою из корысти?

Сенатор поставил ему на вид его вмешательство, ибо он добровольно отказался от своих прав, да, кроме того, ничем пока не доказано, что злодейство совершено мной из корысти, ведь, по его собственному показанию, у покойницы ничего украдено не было. Мало того, он заявил губернатору, что ему следует дать отчет о прежней жизни своей дочери. Ибо лишь таким путем можно вывести заключение, говорю ли я правду или нет. Вслед за тем он прекратил на сегодня разбор дела, дабы, сказал он, поискать разгадки в бумагах покойной, которые вручит ему губернатор. Меня снова отвели в пьюрьму, где я провел печальный день, мечтая о том лишь, чтобы как-нибудь отыскались нити, связующие покойницу с человеком в красном плаще. Преисполненный надежд, переступил я на другой день порог залы суда. На столе лежало много писем; старик сенатор спросил меня, моя ли то рука. Я взглянул на них и узнал почерк тех двух записок, которые получил я. Я заявил об этом сенаторам, но слова мои не встретили доверия; мне возразили, что как та, так и другая бесспорно писаны мною, ибо подпись повсюду начинается с Ц, первой буквы моего имени. Письма же содержали угрозы и предостережения против брака, в который покойница намеревалась вступить. По-видимому, губернатор успел дать какие-то неблагоприятные сведения обо мне, ибо в этот день со мной обращались подозрительнее и строже. Дабы оправдаться, я сослался на бумаги, которые должны быть у меня в комнате. Мне ответили, что

там уже искали, но ничего не нашли. Так, к концу этого судебного заседания всякая надежда покинула меня, и, когда на третий день я снова был приведен в залу, мне прочитали приговор, в котором меня, как уличенного в преднамеренном убийстве, приговаривали к смертной казни. Такова, значит, моя доля; вдали от родины, разлученный со всем, что мне дорого на земле, я осужден был безвинно, во цвете лет, кончить жизнь под попором!

Вечером этого ужасного дня, решившего мою участь, я сидел в своей одинокой темнице; надежды мои угасли, — все помыслы сосредоточились на смерти; как вдруг дверь моей пюрьмы растворилась и вошел какой-то человек. Долго и молча вглядывался он в меня.

— Вот как привелось мне увидеть тебя вновь, Цалевкос! — заговорил он наконец.

Я не узнал его в тусклом свете лампы, но, при звуке его голоса, воспоминания воскресли во мне; то был Валетти, один из немногих друзей, приобретенных мною во времена моего учения в городе Париже. Он сказал, что случайно приехал во Флоренцию, где проживает его отец, человек почтенный; услышав мою историю, он явился в последний раз повидаться со мной и от меня самого узнать, каким образом я дошел до столь тяжкого преступления. Я рассказал ему всю историю. Он был явно поражен и заклинал открыть ему, моему единственному другу, все без утайки, — чтобы не уйти из этого мира с ложью на совести. Я поклялся ему всем святым, что говорю правду и что на мне лежит одна вина: ослепленный блеском золота, я не усмотрел неправдоподобности в рассказе незнакомца.

— Итак, ты прежде не знал Бианки? — спросил он меня.

Я заверил его, что ни разу в жизни не видал ее. Тогда Валетти рассказал мне, что тут кроется глубочайшая тайна и что губернатор очень поропил с моим осуждением; а по городу теперь ходит молва, будто я давно знал Бианку и убил ее из мести, потому что она выходит замуж за

другого. Я заметил в ответ, что все это весьма подходит к человеку в красном, но я не в силах доказать его причастность к преступлению. Валетти в слезах обнял меня и пообещал сделать все, чтобы по крайней мере спасти мне жизнь. Я не слишком надеялся, однако знал, что Валетти человек разумный и сведущий в законах и что он все сделает для моего спасения. Два долгих дня прошло в неизвестности, наконец явился Валетти.

— Я приношу утешение, хотя и нерадостное. Тебе будет дарована жизнь и свобода, но ты лишишься одной руки.

Прочувствованно поблагодарил я друга за спасение жизни. Он сообщил, что губернатор никак не желал разрешить пересмотр дела, но под конец, боясь показаться несправедливым, пошел на уступку, согласившись, если в летописях Флоренции найдется подобный случай, наложить на меня такую же кару, какая была наложена тогда. Мой друг со своим отцом дни и ночи рылись в старых книгах и наконец нашли случай, совершенно сходный с моим. Приговор там гласил: надлежит у него отрубить левую руку, отобрать в казну имущество, его же самого подвергнуть вечному изгнанию. Такова теперь и моя кара, и мне нужно приготовить к предстоящим тяжким минутам. Я не стану рисовать вам те тяжкие минуты, когда мне пришлось посреди площади положить руку на плаху и когда собственная кровь фонтаном обдала меня!

Валетти взял меня к себе, пока я не поправился, а затем щедро снабдил меня деньгами на дорогу, ибо все, что я скопил своими трудами, стало добычей суда. Я отправился из Флоренции в Сицилию и оттуда, первым попавшимся кораблем, в Константинополь. Все надежды у меня были на тот капитал, что я оставил на хранение другу; кроме того, я просил его приютить меня; но как я изумился, когда друг спросил, отчего я не хочу поселиться в своем доме. Он рассказал мне, что какой-то неизвестный

человек приобрел на мое имя дом в греческом квартале, а соседям объявил, что вскоре явлюсь я сам. Я тотчас отправился туда вместе с другом и был радостно встречен всеми знакомыми. Один пожилой купец вручил мне письмо, которое оставил человек, совершивший за меня покупку дома.

Я прочел: «Цалевкос! Две руки готовы прудиться без устали, дабы ты не ощущал потери одной. Дом, который ты видишь, и все его содержимое принадлежит тебе, а каждый год ты будешь получать столько, сколько нужно, чтобы считаться человеком богатым. Прости тому, кто несчастней тебя!» Я догадывался, кем оставлено это письмо, а купец на мой вопрос ответил, что человек тот оказался ему чужеземцем и одет был в красный плащ. После этого рассказа я принужден был признать, что незнакомец мой не вполне лишен душевного благородства. Я оказался владельцем дома, устроенного наилучшим образом, а кроме того, еще и лавки с такими прекрасными поварами, каких у меня никогда не бывало. С тех пор протекло десять лет; больше по привычке, чем из нужды, разъезжаю я по торговым делам, но в той стране, где мне пришлось столько претерпеть, я больше не был ни разу. С тех пор я каждый год получал по тысяче золотых, но хоть меня и радует благородство того злополучного человека, однако ему не окупить скорбь моей души, где вечно жив душераздирающий образ убитой Бианки.

Цалевкос, греческий купец, окончил свой рассказ. С глубоким участием слушали его все остальные; особенно взволнован, казалось, был чужестранец; он неоднократно глубоко вздыхал, и Мулею раз даже почудилось, будто на глазах у него слезы. Долго толковали они об этой истории.

— Вы, надо думать, ненавидите незнакомца, что так подло лишил вас благороднейшей части тела и чуть было не лишил самой жизни? — спросил гость.

— Прежде, в самом деле, случались минуты, когда я в сердце своем винил его перед господом за то, что он навлек на меня такое горе и напоил ядом мою жизнь, — отвечал грек, — но я нашел утешение в вере отцов, которая повелевает мне возлюбить врага; да и он, конечно, несчастнее меня.

— Вы благороднейший человек! — вскричал гость, с чувством пожимая руку Цалевкоса.

Но путь начальник стражи прервал их беседу. С озабоченным видом вошел он в шатер и доложил, что надо быть начеку, ибо в этих местах чаще всего совершаются нападения на караваны, а его стража как будто заметила вдали отряд всадников.

Купцов сильно встревожило это известие, но чужестранец Селим подивился их тревоге, заметив, что при такой охране нечего бояться кучки арабских разбойников.

— О да, господин мой! — отвечал ему начальник стражи. — Будь это простой сброд, можно бы без страха расположиться на покой, но с некоторых пор снова появился грозный Орбазан, а при нем надо держать ухо востро.

Гость спросил, кто такой Орбазан, и Ахмет, старший из купцов, ответил ему:

— В народе рассказывают много чудес об этом человеке. Одни полагают, что он одарен сверхъестественной силой, ибо нередко он один поражает сразу пять-шесть человек; другие считают его смельчаком-франком, которого несчастья занесли в здешние края, — кто бы, однако, он ни был, ясно одно — он нечестивец, злодей и разбойник.

— Этого вы не можете сказать, — возразил ему Леза, один из купцов. — Хоть он и разбойник, но тем не менее благородный человек, что испытал на себе мой брат и чему я мог бы привести вам доказательства. Все свое племя он держит в подчинении, и пока он кочует по пустыне, никакое

другое племя не смеет показаться в этих местах. Да он и не грабит, как другие, а только взимает с караванов дань, и кто беспрекословно выплачивает ее, тот может без помехи совершать свой путь, ибо Орбазан — повелитель пустыни.

Так беседовали между собой путешественники, сидя в шатре; тем временем среди стражи, охранявшей место стоянки, поднялась сильная тревога. Порядочная кучка вооруженных всадников показалась на полчаса в расстоянии; они явно направлялись напрямик к стоянке. Один из стражников явился в шатер сообщить, что нападение готовится в самом деле. Купцы принялись совещаться, как быть — выступить ли навстречу или ждать нападения. Ахмет и двое других купцов постарше предпочитали второе, но пылкий Мулей, а также Цалевкос настаивали на первом и обратились к гостю с просьбой поддержать их. Но тот спокойно достал из-за пояса синий платочек с красными звездами, привязал его к копью и велел одному из рабов водрузить его над шатром; он ручается головой, сказал он, что всадники, увидав этот знак, спокойно проедут мимо. Мулей не верил в успех, но раб все же водрузил копьё над шатром. Между тем все успели вооружиться и с волнением смотрели навстречу всадникам. Но те, по-видимому, заметив знак, круто изменили направление, обогнули место стоянки и поскакали в другую сторону.

Изумленные путешественники несколько минут молча переводили взгляд со всадников на своего гостя. Тот же, как ни в чем не бывало, стоял перед шатром и смотрел вдаль. Наконец Мулей прервал молчание.

— Кто же ты, могущественный незнакомец, чьему знаку покорны дикие кочевники пустыни? — вскричал он.

— Вы переоцениваете мое могущество, — возразил Селим Барух. — Я захватил этот знак, убегая из плена. Что он означает, я не знаю и сам; одно

мне известно, что он служит могущественной защитой тому, кто путешествует с ним.

Купцы благодарили гостя, называя его своим спасителем. И в самом деле, число всадников было так велико, что караван вряд ли мог бы обороняться против них.

Успокоенные, отправились все на покой, когда же солнце начало склоняться, а вечерний ветерок подул над песчаной равниной, караван снялся и пустился в дальнейший путь.

На следующий день он расположился примерно лишь на расстоянии дня пути от конца пустыни. Когда путешественники вновь собрались в большом шатре, купец Лева повел такую речь:

— Я сказал вам вчера, что страшный Орбазан — благородный человек; позвольте мне нынче подтвердить вам это рассказом о приключениях моего брата. Отец мой был кади в Акаре. Нас у него — трое детей. Я — старший, а брат и сестра много моложе меня. Когда мне минуло двадцать лет, один из братьев отца призвал меня к себе. Он назначил меня наследником своего имущества с тем, чтобы я находился при нем до его смерти. Однако он достиг преклонного возраста, так что я лишь два года тому назад возвратился на родину, ничего не зная о том, какая ужасная судьба постигла между тем моих близких и какой благодетельный оборот дал ей Аллах.

Спасение Фатьмы

Мой брат Мустафа и сестра Фатьма были почти в одном возрасте, — брат был старше всего года на два. Они горячо любили друг друга и дружно старались облегчить нашему немощному отцу бремя его лет. В день шестнадцатилетия Фатьмы брат устроил празднество. Он созвал всех ее

подруг, приготовил для них в отцовском саду самое изысканное угощение, а когда наступил вечер, предложил им поката́ться по морю на лодке, которую он нанял и по-праздничному разукрасил. Фатъма и ее подруги с радостью согласились; вечер выдался прекрасный, а вид с моря на город, особенно ночью, был поистине великолепен. Но девушкам так понравилось кататься в лодке, что они уговаривали брата выплыть подальше в море; Мустафа согласился, но нехотя, потому что, за несколько дней до того, поблизости был замечен корсар. Неподалеку от города в море выступает мыс; девушкам вздумалось добраться до него, чтобы оттуда смотреть, как солнце погружается в море. Когда они огибали мыс, то увидели на недалеком расстоянии лодку с вооруженными людьми. Предчувствуя недоброе, брат мой приказал гребцам повернуть обратно и грести к берегу. В самом деле, его опасения подтвердились; вторая лодка, на которой было больше гребцов, нагнала лодку моего брата, опередила ее и дальше все время норовила держаться между берегом и нашей лодкой. Девушки, поняв грозившую им опасность, вскочили с мест, подняли крик и плач; Мустафа тщетно старался их успокоить, тщетно убеждал сидеть смирно, ибо из-за их беготни лодке угрожает опасность опрокинуться; но слова его были напрасны; в конце концов, когда вторая лодка приблизилась вплотную, они все сбились к одному краю лодки, и она опрокинулась. Между тем с берега уже давно наблюдали за маневрами незнакомой лодки, а так как в последнее время надвинулась угроза корсарского налета, то незнакомая лодка пробудила подозрение; несколько лодок отплыли на помощь нашей. Они едва успели спасти утопающих. В сумятице неприятельская лодка исчезла, а на тех лодках, которые подобрали тонувших, не знали, всех ли удалось спасти, и лишь когда лодки приблизились друг к другу, на беду обнаружилось, что недостает моей сестры и одной из ее подруг; одновременно на одной из лодок заметили человека, которого никто не знал. Угрозы Мустафы

вынудили его сознаться, что он — с неприятельского корабля, который стоит на якоре в двух милях на восток от города, и что его спутники, поспешно спасаясь бегством, бросили его, пока он помогал вылавливать девушек; еще он рассказал, что видел, как двух из них втащили на судно.

Скорбь моего престарелого отца не имела пределов, да и Мустафа был совсем убит; и не только потому, что исчезла его любимая сестра и что он считал себя виновником ее несчастья; та самая подруга Фатьмы, которая поделила ее горькую участь, была обещана родителями ему в жены, и он только не осмелился еще сознаться в этом нашему отцу, ибо ее родители были люди бедные и при том низкого происхождения. Мой же отец был человек строгий; когда скорбь его немного улеглась, он призвал к себе Мустафу и сказал ему:

— Твоя глупость отняла у меня упешение моей старости и радость очей моих. Я проклинаяю тебя и твое потомство, ступай навеки прочь с глаз моих, и только когда ты вернешь мне Фатьму, отцовское проклятие будет снято с главы твоей.

Этого мой бедный брат не ожидал; он уже и сам решил отыскать сестру и ее подругу и хотел только испросить благословения отца, и вот теперь ему приходится пускаться в путь с бременем отцовского проклятия. Но если прежняя беда сломила его, то избыток горя, которого он не заслужил, укрепил его дух.

Он пошел к пленному морскому разбойнику, расспросил его, куда держал путь корабль пиратов, и узнал, что они ведут обширную торговлю невольниками и обычно для этой цели выбирают Бальсору.

Когда он вернулся домой, чтобы собраться в путь, гнев отца как будто несколько улегся, ибо он прислал ему на дорогу кошелек с золотыми. Мустафа же, в слезах, простился с родителями Зораиды, так звали его похищенную невесту, и пустился в путь к Бальсоре.

Он не мог ехать морем, ибо из нашего городка ни один корабль не шел в Бальсору. Поэтому ему пришлось совершать за день большие переходы, чтобы прибыть в Бальсору вслед за пиратами; но конь у него был хороший, поклажи никакой, и потому он рассчитывал добраться туда к концу шестого дня. Однако вечером четвертого дня, когда он в одиночестве совершал свой путь, на него напали три всадника. Заметив, что они хорошо вооружены и сильны и посягают больше на его коня и кошелек, чем на жизнь, он крикнул им, что сдается. Они слезли с лошадей, связали ему ноги под брюхом его коня, окружили его и поскакали рысью, не говоря ни слова, причем один из них держал его коня за поводья.

Мустафа предался глубокому отчаянию, проклятие отца, видно, уже начинало сбываться, и где ему, несчастному, было надеяться спасти свою сестру и Зораиду, когда сам он, лишенный всяких средств, мог отдать для их освобождения только свою жалкую жизнь! Мустафа и его безмолвные спутники, проехав около часа, свернули в песную боковую долину. Полянка, куда они попали, была окаймлена высокими деревьями; мягкая темно-зеленая трава, быстро бегущий посредине ручей, — все манило к отдыху. И в самом деле, Мустафа увидел, что там разбито около двадцати шатров; к кольям шатров были привязаны верблюды и великолепные кони; из одного шатра неслись веселые звуки цитры и двух прекрасных, мужских голосов. Мой брат подумал, что люди, выбравшие такое приветливое местечко для привала, не могут замышлять против него недоброе, и без страха последовал зову своих проводников, которые, распутав связывавшие его веревки, велели ему слезть с лошади. Его повели в шатер, который был больше других и внутри убран красиво, почти изысканно. Превосходные, шитые золотом подушки, узорные ковры, позолоченные курильницы где-либо в ином месте служили бы признаком богатства и благополучия, здесь же они свидетельствовали о дерзких грабежах.

На одной из подушек сидел маленький старичок; лицо у него было безобразное, очень смуглое и лоснящееся, а печать злобного коварства вокруг глаз и рта придавала ему отпалкивающий вид. Хотя этот человек и старался приосаниться, однако Мустафа скоро смекнул, что не для него шатер убран так богато, а разговоры спутников только подтвердили это предположение.

— Где атаман? — спросили они у старика.

— Он выехал поохотиться, — ответил тот, — а меня посадил на свое место.

— Это он неладно придумал, — возразил один из разбойников, — нужно скорей решить, убить ли этого пса или взять с него выкуп, а это атаман знает лучше, чем ты.

Карлик поднялся с полным сознанием своего достоинства и, желая отомстить за обиду, вытянулся, сколько мог, чтобы кончиками пальцев достать ухо противника; видя, что усилия его напрасны, он начал браниться, другие тоже не остались в долгу, — так что от их криков дрожал весь шатер.

Но тут внезапно дверь шатра открылась, и вошел высокий стройный мужчина, молодой и прекрасный, как персидский принц; его одежда и оружие, кроме богато отделанного кинжала и блестящей сабли, были скромны и просты, а строгий взгляд и осанка внушали уважение, не вызывая при этом страха.

— Кто осмеливается заводить ссоры в моем шатре? — воскликнул он, обращаясь к испуганным спорщикам. Некоторое время царило глубокое молчание, наконец один из тех, что привели Мустафу, рассказал, какова причина ссоры. Лицо атамана, как они его называли, вспыхнуло от гнева.

— Когда это я сажал тебя на мое место, Гассан? — закричал он грозным голосом, обращаясь к карлику.

Топ совсем съезжился от страха, так что спал еще меньше, чем прежде, и шмыгнул к двери, ведущей из шатра. Увесистым пинком апаман подогнал его, и он кубарем вылетел из шатра.

Когда карлик исчез, трое людей, приведших Мустафу, подвели его к хозяину шатра, который успел между тем улечься на подушки.

— Вот топ, кого ты нам повелел поймать.

Апаман долго смотрел на пленника и наконец заговорил:

— Зулиэйкский паша, собственная совесть подскажет тебе, почему ты стоишь перед Орбазаном! — Услышав это, брат мой упал на колени, вскричав:

— О господин! Ты, по-видимому, впал в заблуждение, я несчастный горемыка, а не паша, которого ты ищешь! — Все присутствующие были удивлены подобной речью. А хозяин шатра сказал:

— К чему отпираться, я сейчас призову сюда людей, которые хорошо тебя знают. — И он приказал при вести Зулейму. В шатер ввели старуху, которая на вопрос, признает ли она в моем брате зулиэйкского пашу, отвечала:

— Конечно! Клянусь гробницей пророка, что это и есть не кто иной, как паша.

— Видишь, презренный человек, как твоя хитрость пошла прахом? — гневно начал апаман. — Я не стану марасть свой кинжал в крови такой мрази, как ты: я привяжу тебя к хвосту коня завтра, когда взойдет солнце, и буду скакать с тобой по лесам, пока солнце не скроется за холмами Зулиэйки!

Тут бедный мой брат совсем пал духом.

— Значит, проклятие жестокого отца обрекает меня на позорную смерть! — со слезами воскликнул он. — Теперь погибла и ты, возлюбленная сестра, и ты, Зораида, тоже!

— Притворство тебе не поможет, — сказал один из разбойников, связывая ему за спиной руки, — проваливай из шатра, а то атаман закусил уже губы и поглядывает на свой кинжал. Выходи скорее, если хочешь прожить еще хоть ночь.

Только разбойники собрались увести моего брата из шатра, как столкнулись с тремя другими, которые гнали перед собой пленника. Они вошли с ним в шатер.

— Мы привели пашу, как ты приказал, — сказали они и потащили пленника к ложу атамана. В то время как пленника тащили, мой брат успел его разглядеть и заметить сходство этого человека с собою, — только пот был смуглее лицом и борода у него была темнее.

Атаман, по-видимому, очень удивился появлению второго пленника.

— Кто же из вас настоящий? — спросил он, переводя взгляд с моего брата на того.

— Если ты подразумеваешь пашу из Зулиэйки, — горделиво отвечал пленник, — так это я!

Атаман долго смотрел на него строгим и мрачным взглядом, затем молча подал знак увести его. После этого он приблизился к моему брату, разрезал своим кинжалом связывавшие его пупы и жестом пригласил его сесть рядом с собой на подушки.

— Я сожалею, чужеземец, что принял тебя за то чудовище, — сказал он, — но припиши неисповедимой воле неба случай, отдавший тебя в руки моих братьев именно в час, назначенный для гибели того нечестивца!

Тут мой брат попросил оказать ему единственную милость и позволить немедленно продолжать путь, ибо всякая отсрочка может стать для него пагубной. Атаман осведомился, что за спешное у него дело, и, когда Мустафа все рассказал, убедил брата провести эту ночь тут в шатре, ибо и Мустафа, и его конь нуждаются в отдыхе; а завтра он сам покажет ему

дорогу, по которой в полтора дня можно доскакать до Бальсоры. Брат мой согласился и мирно проспал до утра в шатре радушного разбойника.

Проснувшись, он увидел, что, кроме него, в шатре никого нет, но перед завесой шатра он услышал голоса, которые, по-видимому, принадлежали хозяину шатра и темнолицему человеку. Он прислушался и, к своему ужасу, уловил, что карлик настойчиво уговаривает атамана убить чужеземца, ибо, если опустить его на волю, он выдаст их всех.

Мустафа понял, что карлик питает к нему злобу как к виновнику вчерашней взбучки; атаман, видимо, размышлял несколько мгновений.

— Нет, — ответил он, — он мой гость, а гостеприимство свято для меня, да и, на мой взгляд, он не из тех, что способны выдать.

Сказав это, он откинул занавеску и вошел.

— Мир тебе, Мустафа, — произнес он, — подкрепимся сперва упренним напитком, а затем собирайся в путь.

Он протянул моему брату чашу с шербетом; выпив, они взнуздали коней, и надо сказать, что Мустафа вскочил на коня с более легким сердцем, чем приехал сюда. Вскоре шатры остались позади, и они свернули на широкую тропу, ведущую к лесу. Атаман рассказал моему брату, что паша, когда они захватили его на охоте, обещал не преследовать их в своей стране; но несколько недель тому назад он поймал одного из самых храбрых их поварищей и, после жесточайших пыток, велел его повесить. Они долго выслеживали его, и вот сегодня он будет казнен. Мустафа не осмелился возражать, радуясь, что ему самому удалось спастись.

При выезде из леса атаман придержал своего коня, объяснил моему брату дорогу, протянул ему на прощанье руку и сказал:

— Мустафа, ты чудесным случаем оказался гостем разбойника Орбазана; я не стану просить тебя не выдавать того, что ты видел и слышал. Ты незаслуженно испытал страх смерти, и я у тебя в долгу. Возьми

на память этот кинжал; когда будешь нуждаться в помощи, пришли мне его, и я поспешу к тебе на выручку. Кошелек же этот может тебе пригодиться в пути.

Мой брат поблагодарил его за великодушие, взял кинжал, а от кошелька отказался. Но Орбазан пожал ему еще раз руку, бросил кошелек наземь и, как вихрь, умчался в лес. Когда Мустафа убедился, что его все равно не нагнать, он слез с коня, поднял кошелек и даже испугался щедрости своего гостеприимного хозяина, ибо в кошельке оказалось очень много золота. Возблагодарив Аллаха за спасение, он поручил благородного разбойника его милосердию и бодро продолжал свой путь в Бальсору.

Леза умолк и вопросительно взглянул на Ахмета, старшего из купцов.

— Ну, если это так, я охотно изменю свое мнение об Орбазане, ибо что правда, то правда: с твоим братом он поступил хорошо.

— Он поступил как истый мусульманин! — воскликнул Мулей. — Но я надеюсь, что ты на этом своего рассказа не кончишь, ибо всем нам, надо думать, любопытно узнать, что произошло дальше с твоим братом и освободил ли он твою сестру Фатьму и прекрасную Зораиду.

— Если вам не наскучило слушать, я охотно расскажу, что было дальше, — ответил Леза, — ибо история моего брата в самом деле изобилует чудесными приключениями.

В полдень седьмого дня пути Мустафа въехал в ворота Бальсоры. Остановившись в ближайшем караван-сараяе, он спросил, когда открывается невольничий рынок, который бывает здесь ежегодно. Но, о, ужас! — в ответ он услышал, что опоздал на два дня. При этом ему еще сказали, что он много потерял, ибо в самый последний день торга привезли двух невольниц такой поразительной красоты, что они привлекли к себе взоры всех покупателей. Люди прямо дрались за них и набили такую высокую цену, какая не отпугнула только их теперешнего хозяина. Он

подробно расспросил об этих невольницах, и у него не осталось сомнения, что это и были бедняжки, которых он искал. Он узнал также, что человек, купивший их обеих, живет в сорока часах езды от Бальсоры и зовется Тиули-Кос; человек этот знатный, богатый, но уже пожилой, раньше он был капудан-пашой султана, а теперь удалился на покой с накопленными богатствами.

Сперва Мустафа решил немедленно вскочить на коня и поспешить вслед за Тиули-Косом, который мог опередить его не больше, чем на один день. Но когда он сообразил, что одному ему не совладать с могущественным противником, а тем паче не отбить у него добычи, то стал придумывать другой способ, на который вскоре и набрел. Сходство с зулиэйкским пашой, едва не оказавшееся для него роковым, навело его на мысль проникнуть в дом Тиули-Коса под этим именем и таким путем попытаться спасти несчастных девушек. Тотчас же он нанял нескольких слуг и лошадей, на что ему чрезвычайно пригодились деньги Орбазана, приобрел для себя и для слуг великолепные одежды и пустился в путь к замку Тиули. Он добрался туда в пять дней. Замок, расположенный в прекрасной долине, был окружен стенами, почти одной вышины с самими строениями. Прибыв к замку, Мустафа окрасил волосы и бороду в черный цвет, а лицо смазал соком одного растения, что придало ему смугловатый оттенок, совсем как у того паши. Вслед за тем он послал одного из своих слуг во дворец, приказав ему просить о ночлеге от имени зулиэйкского паши. Слуга вскоре вернулся, а с ним четверо богато одетых рабов, которые взяли под уздцы коня Мустафы и повели его во двор замка. Там они помогли ему самому слезть с коня, а четверо других проводили его по мраморной лестнице к Тиули.

Этот старый весельчак принял моего брата с почетом и велел потчевать его всем самым лучшим, что только умел изготовить его повар.

После прاپезы Мустафа поспепенно навел разговор на новых невольниц, Тиули принялся расхваливать их красоту и посетовал только, что они всегда печальны, однако выразил надежду, что это скоро пройдет. Мой брат был очень доволен приемом и лег спать, исполненный радостных упований. Он проспал не более часа, как вдруг его разбудил свет лампы, направленный прямо на него. Поднявшись, он подумал, что продолжает грезить, — перед ним стоял черномазый человек из шапра Орбазана с лампой в руке; отвратительная улыбка кривила его широкую пасть. Мустафа ущипнул себя за руку, дернул за нос, желая убедиться, что не спит, но явление не исчезало.

— Что тебе нужно у моего ложа? — воскликнул Мустафа, оправившись от изумления.

— Не волнуйтесь так, господин, — сказал карлик, — я сразу смекнул, зачем вы сюда явились. Ваше досточтимое лицо мне хорошо запомнилось, но, право же, если бы я не собственноручно помогал вешать пашу, то, может быть, вы и меня провели бы. А теперь я здесь, чтобы задать вам один вопрос.

— Прежде всего скажи, как ты попал сюда, — заявил Мустафа, взбешенный тем, что обман его не удался.

— Сейчас расскажу, — ответил пот, — я не мог ужиться с апаманом, а потому бежал; но ведь ты, Мустафа, собственно, и был причиной нашей ссоры, а потому ты должен выдать за меня свою сестру, я же помогу вам бежать: если же ты не выдашь ее за меня, я пойду к моему новому хозяину и расскажу ему кое-что о новом паше.

Мустафа был вне себя от страха и гнева; теперь, когда он считал, что находится на верном пути к достижению своей цели, вдруг является этот негодяй, чтобы все распротить. У него оставалось одно средство не загубить свой план — прикончить этого уродца; одним прыжком бросился

он с постели на карлика, но топ, видимо, предчувствовал такую возможность: он уронил лампу, которая погасла, а сам отскочил в темноту, во все горло зовя на помощь.

Что тут было делать? От спасения девушек Мустафе пока приходилось отказаться и думать только о собственной голове; он подошел к окну, чтобы посмотреть, нельзя ли выпрыгнуть из него. Окно находилось довольно далеко от земли, а дальше была высокая стена, через которую нужно перелезть. Размышляя, стоял он у окна, как вдруг услышал множество голосов, приближающихся к его комнате, — вот они уже у самой двери, тогда он в отчаянии схватил свой кинжал и одежду и прыгнул из окна. Удар оказался сильным, но он чувствовал, что кости у него все целы, и поэтому вскочил на ноги, подбежал к стене, окружавшей двор, к удивлению своих преследователей, вскарабкался по ней и скоро очутился на воле. Он бежал, пока не достиг лесочка, где в изнеможении свалился на землю. Тут он стал раздумывать, как быть дальше. Лошадей и слуг ему пришлось бросить на произвол судьбы, зато деньги, которые были у него за поясом, оказались при нем.

Его изобретательный ум вскоре указал ему новый путь к спасению. Он пошел лесом дальше, пока не достиг деревни, где за сходную цену купил лошадь, на которой вскоре добрался до города. Там он стал спрашивать о враче, и ему указали искусного в своем деле старика лекаря. Ценой нескольких золотых монет он убедил старика дать ему такое лекарство, которое вызывало бы сон, похожий на смерть и могущий быть мгновенно прерванным с помощью другого лекарства. Получив такое средство, он купил себе длинную фальшивую бороду, черную мантию и множество разных банок и склянок, так что действительно стал похож на странствующего врача, погрузил свои пожитки на осла и поехал обратно в замок Тиули-Коса. Теперь он мог не опасаться быть узнанным, ибо борода

настолько изменила его, что он сам себя почти не узнавал. Приехав к Тиули, он приказал доложить о себе, как о враче Хакаманкабудибаве, и как он предполагал, так и случилось: пышное имя произвело на старого дурака огромное впечатление, так что он сразу же пригласил гостя к столу. Хакаманкабудибава предстал перед Тиули, и после того, как они проговорили около часа, старик решил подвергнуть всех своих невольниц лечению мудрого врача. Тот с трудом скрывал свою радость, что наконец снова увидит любимую сестру, и с бьющимся сердцем последовал за Тиули в сераль. Они пришли в богато убранную комнату, в которой, однако, не было никого.

— Хамбаба, или как там тебя зовут, любезный врач, — сказал Тиули-Кос, — взгляни-ка вон на то отверстие в стене; в него каждая из моих рабынь будет просовывать руку, а ты по пульсу сможешь судить, здорова она или нет.

Как Мустафа ни протестовал, но увидеть невольниц ему не удалось; однако Тиули согласился сообщать о каждой, как она себя чувствует обычно. Тиули вынул из-за пояса длинную записку и начал громким голосом выкликать своих невольниц одну за другой, после чего всякий раз в отверстии появлялась рука, и лекарь щупал пульс. Уже были выкликнуты шесть невольниц и все объявлены здоровыми, когда Тиули назвал седьмой Фатьму, и маленькая белая ручка скользнула в отверстие, Мустафа схватил ее, дрожа от радости, и заявил с озабоченным видом, что эта невольница не на шутку больна. Тиули весьма встревожился и приказал своему мудрому Хакаманкабудибаве поскорее приготовить для нее лекарство. Лекарь вышел, написал на клочке бумаги: «Фатьма! Я спасу тебя, если ты отважишься принять лекарство, которое лишит тебя жизни на два дня; однако у меня есть средство снова вернуть тебе жизнь. Если ты согласна,

скажи лишь, что питье не помогло, и это будет мне знаком твоего согласия!»

Вслед за тем он вернулся в комнату, где его ожидал Тиули. Он принес безвредное питье и, щупая еще раз пульс у больной Фатьмы, засунул ей за браслет записку, питье же открыто подал через отверстие в стене. Тиули был крайне озабочен болезнью Фатьмы и отложил осмотр остальных до более благоприятного времени. Покидая вместе с Мустафой комнату, он сказал печальным голосом:

— Хадибба, скажи откровенно, что ты думаешь о болезни Фатьмы? — Хакаманкабудибаба отвечал с глубоким вздохом:

— Ах, господин мой! Да ниспошлет тебе пророк утешение, — у нее изнурительная лихорадка, которая может ее доконасть.

Тиули вспыхнул:

— Что ты говоришь? Поганый ты пес после этого, а не врач! Я заплатил за нее две тысячи золотых, и чтобы она издохла, как корова? Так и знай, если ты не спасешь ее, я отрублю тебе голову!

Тут мой брат понял, что сделал глупость, и поспешил обнадежить Тиули. Во время их разговора из серая пришел черный раб сказать врачу, что питье не помогло.

— Употреби все свое искусство, Хакамдабабельба, или как там тебя зовут, — я заплачу тебе сколько хочешь! — взвыл Тиули-Кос от страха, что может потерять такие деньги.

— Я дам ей лекарство, которое избавит ее от всяких мук, — ответил врач.

— Да, да, дай ей лекарство, — причитал старик Тиули.

Радостно поспешил Мустафа за своим сонным напитоком и, отдав его черному рабу, показал, сколько принимать, а сам пошел к Тиули и объявил, что ему нужно собрать у моря кое-какие целебные травы, после чего

пустился наутек из замка. Невдалеке, у моря, он сбросил свою мантию и бороду, швырнул их в воду, а сам спрятался в кустах и, дождавшись ночи, прокрался к усыпальнице при замке Тиули.

Не прошло и часа после ухода Мустафы, как Тиули принесли прискорбную весть, что его невольница Фатъма при смерти. Он послал людей к мерю за врачом, но его посланцы вскоре вернулись одни и рассказали, что бедный врач упал в море и утонул; его черная мантия плавает по морю, и по тупу, по там из волн показывается его великолепная борода. Когда Тиули убедился, что спасения нет, он стал проклипать себя и весь мир, рвать свою бороду и биться головой об стенку. Но гнев его был бессилен, и Фатъма испустила дух на руках у других женщин. Когда Тиули принесли весть о ее смерти, он приказал спешно изготовить гроб, ибо не терпел в доме мертвецов, и велел снести труп в усыпальницу. Носильщики отнесли гроб, поспешно сбросили на землю и убежали, — им почудилось, будто из других гробов раздаются стоны и вздохи.

Мустафа, укывшийся за гробами и отпуда обративший в бегство носильщиков, вышел из своего убежища и зажег лампу, которую предусмотрительно захватил с собой. Затем он вынул склянку, содержащую средство для пробуждения, и приподнял крышку гроба Фатъмы. Но какой ужас обуял его, когда при свете лампы обнаружились совсем незнакомые черты. В гробу лежала не моя сестра и не Зораида, а какая-то чужая женщина. Он долго не мог оправиться от нового удара судьбы, но под конец сострадание пересилило гнев. Он открыл склянку и влил лекарство в рот незнакомки. Она вздохнула, открыла глаза и, казалось, долго не могла понять, где она. Наконец она вспомнила все происшедшее, встала из гроба и упала к ногам Мустафы.

— Как мне благодарить тебя, добрая душа, — воскликнула она, — за то, что ты освободил меня из ужасного плена!

Мустафа прервал ее излияния вопросом: как случилось, что спасена она, а не его сестра, Фатъма? Та с удивлением посмотрела на него.

— Только теперь мне понятно мое спасение, которое сперва было для меня загадкой, — ответила она, — знай же, что меня в замке Тиули называли Фатъмой и свою записку и спасительный напиток ты вручил мне.

Брат мой попросил спасенную сообщить ему что-либо о его сестре и Зораиде и узнал, что обе они находятся в замке, но, по обычаю Тиули, им даны другие имена: их теперь зовут Мирза и Нурмагаль.

Когда Фатъма, спасенная невольница, увидела, что мой брат так угнетен происшедшим недоразумением, она принялась утешать его и пообещала открыть средство, как снова попытаться спасти тех двух девушек. Ободренный ее словами, Мустафа вновь воспрянул духом; он попросил ее указать ему это средство, и она заговорила:

— Хотя я только пять месяцев в неволе у Тиули, однако с самого начала я стала думать о спасении, но одной мне оно было не под силу. Во внутреннем дворе замка ты, вероятно, заметил фонтан, вода в котором бьет из десяти труб, — этот фонтан привлек мое внимание. Я помню, в доме моего отца был точно такой же фонтан, и вода в него притекала по широкому водопроводу. Чтобы узнать, построен ли этот фонтан точно так же, я один раз, в присутствии Тиули, похвалила красоту фонтана и спросила, кто его строил. «Я сам построил его, — отвечал он, — и то, что ты видишь снаружи, сущие пустяки; вода подведена к нему из ручья по меньшей мере за тысячу шагов отсюда, и печет она по сводчатому водопроводу, вышиной в человеческий рост, и все это я придумал сам». После того как я это услышала, я не раз мечтала хоть на минуту обрести силу мужчины, чтобы поднять один из камней сбоку фонтана, — тогда бы я убежала на свободу. Я тебе покажу, откуда идет водопровод, через него ты можешь ночью пробраться в замок и освободить их. Но тебе нужно иметь с

собой самое меньшее еще двух человек, чтобы одолеть рабов, которые ночью охраняют сераль.

Так говорила она, а брат мой, Мустафа, хотя уже дважды обманутый в своих надеждах, еще раз собрался с духом и понадеялся, с помощью Аллаха, осуществить план невольницы. Он дал ей слово позаботиться о ее возвращении на родину, если она поможет ему пробраться в замок. Но еще одна мысль превозжила его — где ему взять двух или трех верных помощников? Тут он вспомнил про кинжал Орбазана и про обещание, данное тем, прийти ему на помощь, когда он будет в ней нуждаться. Он поспешил с Фатьмой из склепа, чтобы отыскать Орбазана.

В том же городе, где он превратился в лекаря, он на последние деньги купил себе коня, а Фатьму поселил у одной бедной женщины в предместье; сам же отправился в ту долину, где впервые встретил Орбазана, и через три дня добрался туда. Скоро нашел он те же шатры и неожиданно предстал перед Орбазаном, который дружески его приветствовал. Мустафа рассказал о своих неудавшихся попытках, причем суровый Орбазан не мог в некоторых местах удержаться от смеха, особенно когда представил себе врача Хакаманкабудибabu. Но, узнав о предательстве карлика, он сильно разгневался и поклялся собственноручно повесить его, где бы тот ему ни попался. Вслед за тем он пообещал не мешкая снарядиться на помощь моему брату, при условии, что тот сперва отдохнет с дороги. Поэтому Мустафа провел еще одну ночь в шатре Орбазана; но едва забрезжила заря, как они двинулись в путь, причем Орбазана сопровождали трое его самых храбрых, хорошо вооруженных людей на лихих конях. Они скакали во всю прыть и спустя два дня прибыли в тот городок, где Мустафа оставил спасенную Фатьму. Затем они отправились вместе с ней к леску, откуда невдалеке виден замок Тиули, там они расположились в ожидании ночи. Как только стемнело, Фатьма провела

их к ручью, откуда начинался водопровод. Опыскав его, они оставили Фатьму и одного из слуг с лошадьми, а сами начали спускаться; но прежде чем они спустились, Фатьма еще раз повторила им все подробно, а именно, что через фонтан они проникнут во внутренний двор замка. Там, справа и слева, по углам, находятся две башни; за шестой дверью, считая от правой башни, помещаются Фатьма и Зораида под охраной двух черных рабов. Захватив оружие и ломы, Мустафа, Орбазан и двое других спустились в водопровод; хотя они оказались по пояс в воде, однако это не помешало им храбро продвигаться вперед. Спустя полчаса они достигли самого фонтана и немедленно пустили в ход ломы. Стена была толстая и крепкая, но соединенным усилиям четырех человек она долго пропротивостоять не могла, и скоро они проломали отверстие, достаточное для того, чтобы свободно пролезть в него. Орбазан пролез первым и помог остальным. Очутившись во дворе, они принялись, в поисках указанной им двери, разглядывать по сторонам замка, что была прямо перед ними. Но столкнуться, которая же это из дверей, они никак не могли, ибо, если они считали от правой башни к левой, им попадалась замурованная дверь, и они не знали, пропускала ли ее Фатьма или считала тоже. Но Орбазан не стал долго колебаться. «Мой добрый меч откроет мне любую дверь!» — воскликнул он и подошел к шестой двери, остальные последовали за ним. Открыв дверь, они увидели шестерых черных рабов, спавших на полу; они собрались уже потихоньку уйти, ибо поняли, что попали не туда, куда нужно, как вдруг в углу приподнялась какая-то фигура и хорошо знакомым голосом стала звать на помощь. То был карлик из шатра Орбазана. Но не успели черные рабы опомниться, как Орбазан ринулся к карлику и, разорвав свой пояс надвое, запнул ему рот и связал за спиной руки, потом принялся за рабов; некоторых из них Мустафа и двое других уже успели связать, — Орбазан помог справиться с остальными. Рабам приставили кинжал к груди и

стали их допрашивать, где Нурмагаль и Мирза, и те сознались, что они в соседнем покое. Мустафа бросился туда и увидел Фатьму и Зораиду, которых разбудил шум. Они поспешно собрали свои украшения и одежды и последовали за Мустафой; оба разбойника предложили между тем Орбазану награбить всего, что попадетсЯ, но Орбазан запретил им это, присовокупив: «Пусть никто не посмеет сказать про Орбазана, будто он ночью проникает в дома, чтобы красть золото».

Мустафа и спасенные девушки быстро скользнули в водопровод, куда за ними обещал вскоре последовать и Орбазан. Когда те скрылись в водопроводе, Орбазан и один из разбойников взяли карлика и вывели во двор; там они набросили ему на шею шелковый шнур, захваченный ими для этой цели, и повесили его на самой верхушке фонтана. Покарав таким образом предательство негодяя, они, в свою очередь, спустились в водопровод и последовали за Мустафой. Со слезами на глазах благодарили обе девушки своего великодушного избавителя Орбазана; но он поропил их бежать, полагая, что Тиули-Кос разошлет погоню во все стороны. Тронутые до глубины души, Мустафа и спасенные девушки распрощались на завтра с Орбазаном; и правда — они не забудут его никогда. А Фатьма, освобожденная невольница, отправилась переодетой в Бальсору, чтобы оттуда морем добраться к себе на родину.

После краткого и приятного путешествия прибыли мои близкие на родину. Нашего престарелого отца едва не убила радость свидания; на следующий день после их возвращения он устроил большое празднество, в котором принимал участие весь город. Брата моего заставили рассказать перед целым собранием родственников и друзей о его приключениях, и все единогласно хвалили и его, и благородного разбойника.

Когда же мой брат закончил рассказ, встал отец и подвел к нему Зораиду.

— И так, — произнес он торжественным голосом, — я снимаю проклятие с твоей головы! Возьми эту девушку, как награду, которую ты заслужил своим неутомимым рвением. Прими также мое родительское благословение, и пусть в нашем городе никогда не будет недостатка в людях, равных тебе по уму, усердию и братской преданности!

Караван достиг конца пустыни, и путешественники радостно приветствовали зеленые луга и густолиственные деревья, приятного лицезрения коих они были лишены столько дней. Караван-сарай, который они избрали себе для ночлега, был расположен в прекрасной долине, и хотя удобств и прохлады он сулил немного, но вся компания была веселее и благодуще, чем когда-либо, ибо сознание, что опасности и трудности, которые влечет за собой путешествие через пустыню, счастливо миновали их, раскрыло все сердца и настроило умы на веселье и забавы. Младший из купцов, весельчак Мулей, пропанцевал комический танец, сопровождая его песенкой, которые вызвали улыбку даже у сумрачного грека Цалевкоса. Но мало того, что Мулей развлекал своих спутников танцами и песнями, напоследок он преподнес им еще историю, которую обещал раньше, и, отдохнув от пляски, начал рассказ о Маленьком Муке.

Рассказ о Маленьком Муке

В родном моем городе Никее жил-был человек по прозвищу Маленький Мук. Хотя я был тогда совсем ребенком, однако помню его очень хорошо, в особенности потому, что однажды отец мой избил меня из-за него до полусмерти. Дело в том, что в те времена Маленький Мук был уже старичок, ростом же не больше трех-четырёх футов. При том сложен он был весьма странно: на туловище его, маленьком и хрупком, сидела голова,

размером куда объемистее, чем у других людей. Жил он совсем один в большом доме и даже стряпал себе сам, на улицу показывался всего раз в месяц, и в городе никто бы не знал, жив он или умер, если бы в обеденное время из трубы его дома не валил дым; правда, по вечерам он нередко прогуливался по крыше, а с улицы казалось, будто по крыше катается одна его огромная голова. Мы с поварищами были злые мальчишки, готовые всякого высмеять и поддразнить, потому для нас каждый раз бывало праздником, когда Маленький Мук выходил из дому. В определенный день мы полпились перед его домом и поджидали, пока он выйдет; когда же растворялась дверь и сперва показывалась большая голова в еще большем пюрбане, а затем и все тельце, облаченное в попрепанный халатик, пышные шаровары и широкий пояс, за которым торчал длинный кинжал, — такой длинный, что неизвестно было, кинжал ли прицеплен был к Муку или Мук к кинжалу, — так вот, когда он показывался, навстречу ему раздавались веселые возгласы, мы подбрасывали в воздух шапки и откалывали вокруг него бешеный пляс. Маленький Мук в ответ спокойно кивал нам головой и медленным шагом направлялся вдоль по улице, при этом он шаркал ногами, ибо туфли на нем были такие длинные и широкие, каких я больше не видывал. Мы, мальчишки, бежали следом, крича без устали: «Маленький Мук, Маленький Мук!» Кроме того, мы сочинили забавные стишки, которые пели в его честь. Вот эти стишки:

Крошка Мук, крошка Мук,
Сам ты мал, а дом — утес;
В месяц раз ты кажешь нос.
Ты хороший карлик-крошка,
Голова крупна немножко,
Обернись-ка на наш стук

И поймай нас, крошка Мук.

Так мы развлекались частенько, и, к стыду своему, должен признаться, что я озорничал пуще всех: дергал его за халатик, а как-то раз наступил ему сзади на огромные пуфли, так что он упал. Это меня рассмешило, но охоты смеяться как не бывало, когда я увидел, что Маленький Мук направляется к нашему дому. Он вошел пуда и пробыл там некоторое время. Я спрятался за дверью и видел, как Мук выходил в сопровождении моего отца, который почтительно поддерживал его и у двери распрощался с ним, отвесив множество поклонов. Мне было очень не по себе, и я долго не решался выбраться из своего укромного уголка, но под конец голод, который казался мне страшнее побоев, выгнал меня наружу, и я, смиренно склонив голову, предстал перед отцом.

— Я слышал, что ты издевался над добрейшим Муком? — начал он очень строгим тоном. — Я расскажу тебе историю этого самого Мука, и ты наверняка перестанешь дразнить его, но до и после ты получишь обычную порцию. — Обычная порция — это были двадцать пять ударов, которые он всегда отсчитывал точно. Ипак, он взял свой длинный чубук, отвернул янтарный мундштук и отделал меня сильнее, чем всегда.

Когда все двадцать пять были отсчитаны сполна, он приказал мне слушать внимательно и принялся рассказывать о Маленьком Муке.

Отец Маленького Мука, которого зовут по-настоящему Мукра, был у нас в Никее человеком почтенным, хоть и бедным. Он жил почти так же замкнуто, как нынче его сын. Сына этого он недолюбливал, стыдясь его малого роста, и не дал ему никакого образования. На шестнадцатом году Маленький Мук был все еще резвым ребенком, и отец, человек положительный, вечно корил его за то, что он давно вышел из младенческого возраста, а между тем глуп и дурашлив, как дитя.

Однажды старик упал, сильно расшибся и умер, оставив Маленького Мука в нищете и невежестве. Жестокосердая родня, которой покойный задолжал больше, чем мог заплапипть, выгнала бедняжку из дому, посоветовав ему ийти искать счастья по свету. Маленький Мук отвечал, что он уже собрался в путь, и попросил только отдать ему одежду отца, что и было исполнено. Но одежда его отца, человека плотного и рослого, не пришлась ему впору. Однако Мук, не долго думая, подрезал, что было длинно, и нарядился в отцовское платье. Но он, как видно, забыл, что следует урезать и в ширину, и вот откуда получился его необычайный наряд, в котором он щеголяет и поныне; большой пюрбан, широкий пояс, пышные шаровары, синий халат, — все это — наследство отца, которое он носит с тех самых пор. Заткнув за пояс дамасский кинжал отца и взяв посошок, он пустился в путь.

Бодро шагал он целый день, — ведь отправился-то он искать счастья; заметив блестящий на солнце черепок, он, должно быть, подобрал его, в надежде, что пот превратится в алмаз; завидев вдали купол мечети, сияющий, точно зарево, увидев озеро, сверкающее, словно зеркало, он радостно спешил туда, ибо думал, что попал в волшебную страну. Но увы! Те миражи исчезали вблизи, а усталость и голодное бурчание в животе потчас напоминали ему, что он все еще в стране смертных. Так шел он два дня, терзаясь голодом и горем, и уже отчаивался найти счастье; злаки служили ему единственной пищей, голая земля — постелью. На утро третьего дня он увидал с холма большой город. Ярко сиял полумесяц на его кровлях, пестрые флаги реяли над домами и словно манили к себе Маленького Мука. Он замер в изумлении, оглядывая город и всю местность. «Да, там крошка Мук найдет свое счастье! — сказал он про себя и даже подпрыгнул, невзирая на усталость. — Там или нигде». Он собрался с силами и зашагал к городу. Но хотя расстояние казалось совсем небольшим,

добрался он туда лишь к полудню, ибо маленькие ножки его отказывались служить, и ему не раз приходилось присаживаться в тени пальмы и отдыхать. Наконец он очутился у городских ворот. Он одернул на себе халатик, красивей повязал пюрбан, расправил пояс еще шире и еще больше вкось засунул за него кинжал, затем смахнул пыль с туфель, взялся за посошок и храбро миновал ворота.

Он прошел уже несколько улиц, но нигде не растворилась дверь, ниоткуда не крикнули, как он ожидал: «Маленький Мук, войди сюда, поешь, попей и отдохни».

Только он загляделся с тоской на один большой красивый дом, как там растворилось окно, из него выглянула старушонка и закричала нараспев:

Сюда, сюда.
Поспела всем еда,
Стол давно уже накрыт,
Кто придет, тот будет сыт,
Соседи, все сюда,
Поспела вам еда!

Двери дома раскрылись, и Мук увидал, как туда вбежало множество собак и кошек. Он стоял, не зная, принять ли ему тоже приглашение, но затем собрался с духом и вошел в дом. Впереди шли две кошечки, и он решил следовать за ними, потому что они, наверное, лучше его знали дорогу на кухню.

Когда Мук поднялся по лестнице, ему навстречу попала та старушка, что выглядывала в окно. Она сердито посмотрела на него и спросила, чего ему нужно.

— Ты ведь всех звала к себе поесть, — отвечал Маленький Мук, — а я очень голоден, вот я и решил поже прийти.

Старуха расхохоталась и сказала:

— Откуда ты взялся, чудак? Весь город знает, что я готовлю только для своих милых кошечек, а иногда приглашаю им для компании соседских животных, как ты сам видел.

Маленький Мук рассказал старушке, как туго ему пришлось после смерти отца, и попросил ее позволить ему разок пообедать с ее кошками. Старуха, смягчившись от его чистосердечного рассказа, разрешила ему побыть у нее и обильно накормила и напоила его. Когда он насытился и подкрепился, старуха внимательно оглядела его и затем молвила:

— Маленький Мук, оставайся у меня в услужении, работать тебе придется мало, а жить будешь хорошо.

Маленькому Муку пришлось по вкусу кошачья похлебка, а потому он согласился и стал слугой госпожи Агавци. Работа у него была непрудная, но спранная. Госпожа Агавци держала двух котов и четырех кошек, — Маленькому Муку приходилось каждое утро расчесывать и умяцать им шерсть драгоценными припираньями; когда старуха уходила из дому, он ублажал кошек во время еды, подставляя им мисочки, а на ночь укладывал их на шелковые подушки и покрывал бархатными одеялами. Кроме того, в доме водилось несколько собачек, за которыми ему поже велено было ходить, правда с ними не так нянчились, как с кошками, которые были для госпожи Агавци все равно что родные дети. Здесь Мук вел такую же замкнутую жизнь, как и в отцовском доме, потому что, кроме старухи, по целым дням видел одних кошек да собак.

Некоторое время Муку жилось отлично: у него всегда было вдоволь еды и не много работы, и старуха, казалось, была довольна им; но мало-помалу кошки разбаловались: когда старуха уходила, они, как бешеные, метались по

комнатам, опрокидывали все и били дорогую посуду, попадавшуюся им на пути. Но, заслышав шаги старухи по лестнице, они забивались к себе в постельки и, как ни в чем не бывало, виляли ей навстречу хвостами. Находя свои комнаты в беспорядке, старуха злилась и сваливала все на Мука; и как он ни оправдывался, она больше верила невинному виду своих кошечек, чем речам слуги.

Маленький Мук был очень опечален, что здесь ему не довелось найти свое счастье, и задумал бросить службу у госпожи Агавци. Но помня, по первому своему путешествию, как трудно приходится без денег, он решил каким-нибудь способом добыть свое жалованье, которое хозяйка ему все обещала, но ни разу не заплатила. В доме госпожи Агавци имелась комната, которая всегда была под замком и куда он ни разу не заглядывал, но часто он слышал, как старуха возится там, и дорого бы дал, чтобы узнать, что она там хранит. Когда он задумался, как добыть денег на дорогу, ему пришло в голову, что в той комнате хранятся сокровища старухи; но дверь всегда была на запоре, и ему никак не удавалось добраться до сокровищ.

Как-то утром, когда госпожа Агавци вышла из дому, одна из собачонок, для которой старуха была сущей мачехой и которая привязалась к Муку за ласковое обращение, дернула его за складку шаровар, как будто показывая ему, чтобы он следовал за ней. Мук, охотно игравший с собаками, пошел за ней следом, и — что вы думаете? — собачонка привела его в спальню госпожи Агавци, прямо к дверце, которой он до сих пор не замечал. Дверь была полуоткрыта. Собачка вошла туда. Мук следом, — и какова же была его радость, когда он увидел, что находится в комнате, куда стремился так давно! Он стал шарить в поисках денег, но ничего не нашел. Вся комната была полна старой одежды и сосудов причудливой формы. Один из этих сосудов особенно привлек его внимание: он был из граненого хрусталя с прекрасным рисунком. Мук взял его и принялся вертеть во все стороны; но

— о, ужас! — он не заметил, что там была крышка, которая держалась очень слабо: крышка упала и разбилась вдребезги.

Маленький Мук оцепенел от страха, — теперь его судьба решалась сама собой, теперь ему приходилось бежать, иначе старуха забьет его до смерти. Он мигом решился, но на прощание поглядел еще раз, не пригодится ли что-нибудь из добра госпожи Агавци ему в дорогу; тут на глаза ему попала пара огромных туфель; правда, они не были красивы, но его старые уже не выдержали бы путешествия, а, кроме того, эти привлекали его своей величиной; ведь когда он их наденет, все увидят, что он уже давно вышел из пеленок. И так, он поспешно скинул свои шлепанцы и влез в новые; ему показалось, что палочка с красиво вырезанной львиной головой зря пропадает в углу, он захватил и ее и поспешил вон из комнаты. Быстро сбегал он к себе в каморку, накинул халатик, нахлобучил отцовский пюрбан, запкнул за пояс кинжал и со всех ног бросился прочь из дому и из города. Он убегал все дальше от города, боясь гнева старухи, пока совсем не изнемог. Так быстро он не ходил никогда в жизни, мало того, он как будто не мог остановиться, словно какая-то незримая сила гнала его. Наконец он заметил, что с туфлями дело обстоит нечисто: они мчались все вперед и увлекали за собой его. Он всячески пытался остановиться, но тщетно. Тогда он в отчаянии закричал самому себе, как кричат лошадям: «Тпру, стой, тпру!» И туфли остановились, а Мук без сил свалился наземь.

Он был в восторге от туфель; значит, он все-таки приобрел за свою службу нечто, с чем ему легче будет искать по свету счастья. Несмотря на радость, он уснул от утомления, ибо пельце Маленького Мука, которому приходилось носить такую тяжелую голову, было не из выносливых. Во сне ему явилась собачка, которая помогла ему добыть туфли в доме госпожи Агавци, и повела такую речь: «Милый Мук, ты еще не научился обращаться с туфлями; знай, что, надев их и прижды перевернувшись на каблуке, ты

полетишь куда пожелаешь, а палочка поможет тебе находить клады, ибо там, где зарыто золото, она будет спучать оземь прижды, где серебро — дважды». Вот что увидел во сне Маленький Мук; проснувшись, он припомнил чудесный сон и решил сделать опыт. Он надел туфли, поднял одну ногу и принялся вертеться на каблуке; но кто пробовал проделать подобный фокус три раза подряд в непомерно больших туфлях, тот не удивится, что Маленькому Муку это удалось не сразу, особенно если принять в расчет, что тяжелая голова перевешивала его то на одну, то на другую сторону.

Бедняжка несколько раз больно стучался носом об землю, но мужественно продолжал попытки, пока наконец не добился своего. Колесом завертелся он на каблуке, пожелал очутиться в ближайшем большом городе, и глядь — туфли поднялись на воздух, вихрем помчались сквозь облака, и не успел Маленький Мук прийти в себя, как оказался на большой базарной площади, где было разбито множество палаток и сновало бесчисленное количество людей. Он побродил в толпе, но потом решил, что благоразумнее направиться в одну из уединенных улиц, ибо на базаре ему то и дело кто-нибудь наступал на туфли, так что он едва не падал, либо он сам толкал кого-нибудь своим торчащим кинжалом и еле увертывался от побоев.

Маленький Мук призадумался всерьез, как бы ему заработать немножко денег; у него была, правда, палочка, указывающая клады, но как сразу найти место, где зарыто золото или серебро? На худой конец, он мог бы показываться за деньги, но тут гордость мешала ему, И вдруг он вспомнил о проворстве своих ног. «Быть может, туфли мои помогут мне прокормиться», — подумал он и порешил наняться в скороходы. Но ведь такая служба, наверное, лучше всего оплачивается у короля, а потому он отправился разыскивать дворец. У ворот дворца стояла стража, которая

спросила его, чего ему здесь надобно. Когда он ответил, что ищет службы, его послали к надсмотрщику над рабами. Он изложил тому свою просьбу устроить его королевским гонцом. Надсмотрщик смерил его взглядом с головы до пят и произнес: «Как это ты задумал стать королевским скороходом, когда ножонки у тебя не больше пяди? Убирайся поживее, мне недосуг балагурить с каждым дураком». Но Маленький Мук принялся клясться, что он не шутит и готов поспорить с любым скороходом. Надсмотрщик нашел, что такое предложение позабавит хоть кого; он велел Муку приготовитьсь до вечера к состязанию, отвел его на кухню и распорядился, чтобы его как следует накормили и напоили; сам же отправился к королю и рассказал ему о маленьком человечке и его бахвальстве. Король был по природе весельчак, поэтому ему очень понравилось, что надсмотрщик для потехи оставил Маленького Мука; он приказал так устроить все на большом лугу за королевским замком, чтобы двору Удобно было следить за бегом, а о карлике велел иметь особое попечение. Своим принцам и принцессам король рассказал, какое развлечение ждет их вечером; те же рассказали об этом своим слугам, и когда наступил вечер, нетерпеливое ожидание стало всеобщим, — все, кого носили ноги, устремились на луг, где были устроены помосты, откуда двор мог следить за бегом хвастливого карлика.

Когда король с сыновьями и дочерьми расположился на помосте, Маленький Мук выступил на середину луга и отвесил знатному обществу грациознейший поклон. Веселые возгласы встретили малыша, — такого уродца никто еще не видывал. Тельце с огромной головой, халатик и пышные шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножонки в большущих туфлях — право же, при виде такой комичной фигурки нельзя было сдерживать смех. Но хохот не смутил Маленького Мука. Он приосанился, опершись на палочку, и ждал противника. По настоянию

самого Мука, надсмотрщик над рабами выбрал лучшего скорохода; топ выступил поже, подошел к малышу, и оба стали ждать знака. Тогда принцесса Амарца, как было условлено, махнула покрывалом, и почно две стрелы, пущенные в одну цель, помчались бегуны по лугу.

Поначалу противник Мука был заметно впереди, но малыш устремился за ним на своих пуфлях-самоходах, нагнал его, опередил и давно уже достиг цели, когда топ подбегал, еле переводя дух. Зрители застыли на миг от изумления и неожиданности, но когда король первый захлопал в ладоши, толпа разразилась восторженными кликами: «Да здравствует Маленький Мук, победитель в состязании!»

Маленького Мука подвели к помосту, он бросился в ноги королю со словами:

— Великий государь, я показал тебе сейчас лишь скромный образчик своего искусства; соблаговоли повелеть, чтобы меня приняли в число твоих гонцов. — На это король возразил ему:

— Нет, ты будешь состоять гонцом лично при моей особе, милый Мук, жалованья ты будешь получать сто золотых в год, и есть ты будешь за одним столом с первыми моими слугами.

Тут Мук решил, что нашел наконец долгожданное счастье, обрадовался и возликовал в душе. Король оказывал ему особую милость, посылая через него самые срочные тайные поручения, которые он исполнял с величайшей старательностью и непостижимой быстротой.

Но прочие слуги короля не питали к нему расположения; они не могли перенести того, что ничтожный карлик, только и умевший, что быстро бегать, занял первое место в милостях государя. Они запевали против него всяческие козни, дабы погубить его, но все было бессильно против неограниченного доверия, которое питал король к своему тайному оберлейб-курьеру (ибо таких чинов он достиг в короткий срок).

Мук, от которого не укрылись все эти хитросплетения, помышлял не о мести, — он был слишком добр для того, — нет, он думал о средствах заслужить благодарность и любовь своих врагов. Тут он вспомнил о своей палочке, о которой удача заставила его позабыть. Если ему удастся найти клад, решил он, вся эта челядь сразу станет благосклоннее к нему. Ему не раз приходилось слышать, что отец нынешнего короля зарыл многие из своих сокровищ, когда на страну его напал враг; по слухам, он умер, не успев открыть свою тайну сыну. Отныне Мук всегда брал с собой палочку в надежде, что ему случится пройти теми местами, где зарыты деньги покойного короля. Как-то вечером он случайно забрел в отдаленную часть дворцового парка, где редко бывал до того, и вдруг почувствовал, что палочка дрогнула у него в руке и прижды спукнула оземь. Он сразу смекнул, что это значит. Он вытащил из-за пояса кинжал, сделал зарубки на ближних деревьях и поспешил назад во дворец; там он добыл себе лопату и подождал ночи, чтобы приступить к делу.

Добраться до клада оказалось труднее, чем он думал. Руки у него были слабые, а лопата большая и тяжелая; за два часа он вырыл яму не более двух футов в глубину. Наконец он наткнулся на что-то твердое, зазвеневшее, как железо. Он стал рыть еще усерднее и вскоре докопался до большой железной крышки; он влез в яму посмотреть, что было под крышкой, и в самом деле обнаружил горшок, полный золотых монет. Но у него не хватило силенок поднять горшок, и потому он набрал в шаровары и за пояс сколько мог донести монет, наполнил также халатик и, тщательно прикрыв оставшееся, взвалил халатик себе на спину. Но не будь на нем его пуфель, он ни за что бы не сдвинулся с места, — так оттягивало ему плечи золото. Однако ему все же удалось незаметно пробраться к себе в комнату и спрятать золото под подушками дивана.

Оказавшись владельцем таких богатств, Маленький Мук решил, что отныне все пойдет по-новому и что теперь многие его враги из числа придворных станут его рьяными защитниками и покровителями. Из этого одного ясно, что добряк Мук не получил тщательного воспитания, иначе бы он не мог вообразить, будто деньгами приобретаются истинные друзья. Ах! Отчего он тогда не надел своих туфель и не улетучился, прихватив халатик, наполненный золотом!

Золото, которое Мук раздавал теперь пригоршнями, не замедлило пробудить зависть остальных придворных. Главный повар, Аули, сказал: «Он фальшивомонетчик»; надсмотрщик над рабами, Ахмет, сказал: «Он выклянчил золото у короля»; казначей Архаз же, злейший его враг, сам время от времени запускаявший руку в королевскую казну, сказал напрямик: «Он его украл». Они столковались, как вернее повести дело, и вот однажды кравчий Корхуз предстал перед королевские очи с печальным и унылым видом. Он всячески старался показать свою печаль: под конец король в самом деле осведомился у него, что с ним.

— Увы! — отвечал он. — Я опечален тем, что утратил милость своего повелителя.

— Что ты ерунду городишь, голубчик Корхуз, — возразил ему король, — с каких пор солнце моей милости отвратилось от тебя?

Кравчий отвечал, что обер-лейб-курьера он осыпает золотом, а своим верным и бедным слугам не дает ничего.

Короля очень удивило такое известие; он выслушал рассказ о щедротах Маленького Мука; попутно заговорщики без труда внушили ему подозрение, что Мук каким-то образом похитил деньги из королевской сокровищницы. Особенно неприятен был такой оборот дела казначею, который вообще не любил отчитываться. Тогда король приказал следить за каждым шагом Маленького Мука и постараться захватить его с поличным. И когда в ночь

после этого злополучного дня Маленький Мук, чрезмерной щедростью истощивший свои запасы, взял лопату и прокрался в дворцовый парк, чтобы добыть новые средства из своего потайного хранилища, за ним, на расстоянии, следовала стража под начальством главного повара Аули и казначея Архаза, и в ту минуту, когда он собирался переложить золото из горшка в халатик, они набросились на него, связали и повели к королю. Король был уже не в духе, оттого что его разбудили; он весьма немилостиво принял своего злосчастного тайного обер-лейб-курьера и тотчас приступил к расследованию. Горшок был окончательно вырыт из земли и вместе с лопатой и халатиком, набитым золотом, принесен к ногам короля. Казначей показал, что он с помощью стражи накрыл Мука как раз, когда тот зарывал в землю горшок с золотом. Тогда король обратился с вопросом к обвиняемому, правда ли это и откуда у него взялось золото, которое он зарывал.

Маленький Мук, в полном сознании своей невинности, показал, что горшок он нашел в саду и что он откапывал его, а не закапывал.

Все присутствующие встретили такое оправдание смехом; король же, крайне разгневанный мнимой лживостью карлика, закричал:

— Ты еще смеешь, негодяй, так глупо и подло обманывать своего короля после того, как ты же обокрал его? Казначей Архаз! Я повелеваю тебе сказать, признаешь ли ты это количество золота равным тому, какого недостает в моей казне?

И казначей отвечал, что для него сомнений нет; в королевской казне с некоторых пор недостает даже еще больше, и он готов присягнуть, что именно это и есть краденое золото.

Тогда король повелел заковать Маленького Мука в цепи и отвести в башню, а золото отдал казначею, чтобы тот отнес его назад в казну. Радуюсь счастливому исходу дела, отправился казначей восвояси и там

принялся пересчитывать блестящие монеты; но злодей скрыл, что на дне горшка лежала записка, гласившая: «Враг заполонил мою страну, а посему я укрываю сюда часть своих сокровищ. Кто найдет их и не вручит без промедления моему сыну, на голову того да падет проклятие его государя. Король Сади».

У себя в темнице Маленький Мук предавался грустным размышлениям; он знал, что хищение королевского имущества карается смертью, и все-таки не хотел открыть королю тайну волшебной палочки, ибо справедливо опасался, что у него отберут и ее, и туфли в придачу. Туфли, к несчастью, поже не могли выручить его, ведь он был цепями прикован к стене, и как ни бился, а все ему не удавалось повернуться на каблуке. Но после того как ему на другой день объявили смертный приговор, он решил, что все же лучше жить без волшебной палочки, чем умереть с ней: он попросил, чтобы король выслушал его с глаза на глаз, и открыл ему свою тайну. Сперва король не поверил его признанию, но Маленький Мук посулил проделать опыт, если король обещает сохранить ему жизнь. Король дал ему в том слово и велел без ведома Мука зарыть в землю немного золота, а затем приказал ему взять палочку и искать. Тот мигом нашел золото, ибо палочка явственно приждала спукнула о землю. Тут король смекнул, что казначей обманул его, и, по обычаю восточных стран, послал тому шелковый шнурок, дабы он сам удавился. А Маленькому Муку король объявил:

— Правда, я обещал сохранить тебе жизнь, но мне сдается, что ты знаешь не только тайну палочки; а посему ты останешься в вечном започении, если не откроешь секрета своей быстротходности.

С Маленького Мука было довольно и одной ночи в башне, а потому он признался, что все его искусство скрыто в туфлях, но утаил от короля, как с ними обращаться. Король сам влез в туфли, желая проделать опыт, и

почно полоумный заметался по саду; временами он пытался передохнуть, но не знал, как остановить пуфли, а Маленький Мук из злорадства не помог ему, пока топт не добегался до обморока.

Король, придя в себя, рвал и метал на Маленького Мука, из-за которого ему пришлось бегать до бесчувствия.

— Я дал слово даровать тебе жизнь и свободу, но если в течение двух суток ты не будешь за пределами моей страны, я велю тебя вздернуть. — А пуфли и палочку он велел отнести к себе в сокровищницу.

Беднее прежнего побрел Маленький Мук прочь, кляня свою глупость, внушившую ему, будто он может стать персоной при дворе. Страна, из которой его изгоняли, к счастью, была невелика, и уже спустя восемь часов он очутился на ее рубеже, хотя идти без привычных его пуфель было несладко.

Очувшись за пределами той страны, он свернул с большой дороги, чтобы углубиться в лесную глушь и жить в полном одиночестве, ибо люди опостытели ему. В чаще леса набрел он на местечко, которое показалось ему пригодным для намеченной им цели. Светлый ручей, осененный большими смоковницами, и мягкая мурава манили его к себе; путь опустился он на землю, решив не принимать пищи и ждать смерти. Печальные думы о смерти усыпили его; а когда он проснулся, мучимый голодом, то рассудил, что голодная смерть — дело опасное, и принялся искать, не найдется ли чего-нибудь поесть.

Чудесные спелые фиги висели на дереве, под которым он уснул; он взобрался наверх, сорвал несколько штук, полакомился ими и отправился к ручью утолить жажду. Но каков был его ужас, когда он увидел в воде собственное отражение, украшенное длинными ушами и мясистым длинным носом! В смятении схватился он руками за уши, и в самом деле — они оказались длиной с пол-локтя.

— Я заслужил ослиные уши, — вскричал он, — за то, что, как осел, растоптал свое счастье!

Он принялся бродить по лесу, а когда снова проголодался, ему еще раз пришлось прибегнуть к фигам, ибо больше ничего съедобного на деревьях не нашлось. Поглощая вторую порцию фиг, он надумал запряпать уши под пюрбан, чтобы не казаться таким смешным, и вдруг почувствовал, что уши у него уменьшились. Мигом бросился он к ручью, чтобы убедиться в этом, и в самом деле — уши стали прежними, исчез и безобразный, длинный нос. Тут он сообразил, как это произошло: от плодов первой смоковницы у него выросли длинные уши и уродливый нос, поев плодов второй, он избавился от напасти; с радостью понял он, что милосердная судьба снова дает ему в руки средство стать счастливым. Сорвав с каждого из деревьев столько плодов, сколько мог донести, он отправился в ту страну, которую недавно покинул. В первом же городишке он переделся в другое платье, так что стал неузнаваем, а затем отправился дальше к тому городу, где жил король, и вскоре прибыл туда.

Время года было такое, когда спелые плоды еще довольно редки, и потому Маленький Мук уселся у ворот дворца, помня по прежним временам, что главный повар является сюда закупать редкостные лакомства для королевского стола. Не успел Мук расположиться, как увидел, что главный повар идет через двор к воротам. Он оглядел повары разносчиков, собравшихся у ворот дворца, и вдруг взгляд его упал на корзиночку Мука.

— Ого! Лакомое блюдо, — сказал он, — его величеству оно, уж конечно, придется по вкусу: сколько хочешь за всю корзинку?

Маленький Мук назначил невысокую цену, и торг состоялся. Главный повар отдал корзинку одному из рабов и пошел дальше, а Маленький Мук поспешил улизнуть, боясь, как бы его не поймали и не наказали за продажу плодов, если беда постигнет уши и носы королевского двора.

Во время пражезы король был в превосходном расположении духа и не раз принимался хвалить главного повара за вкусный стол и за усердие, с которым тот всегда старается раздобыть изысканные яства, а главный повар, помня, какой лакомый кусочек имеется у него в запасе, ухмылялся умильно и лишь кратко изрекал: «Конец делу венец», или «Это цветочки, а ягодки впереди», — так что принцессы сгорали от любопытства, чем он их еще поощряет. Когда же были поданы великолепные, соблазнительные фиги, у всех присутствующих вырвалось восторженное: «Ах!»

— Какие спелые! Какие аппетитные! — вскричал король. — Ты прямо молодчина, главный повар, ты заслужил нашу высочайшую милость.

Сказав это, король, весьма бережливый в отношении подобных лакомств, собственноручно оделил фигами присутствующих. Принцы и принцессы получили по две штуки, придворные дамы, визири и аги по одной, остальные король придвинул к себе и стал их уплетать с величайшим удовольствием.

— Господи, какой у тебя странный вид, папа! — вскричала вдруг принцесса Амарца.

Все обратили к королю удивленные взоры; по обеим сторонам головы у него торчали огромные уши, длинный нос свешивался до самого подбородка; тогда присутствующие стали с изумлением и ужасом оглядывать друг друга — у всех головы оказались, в большей или меньшей степени, украшенными тем же странным убором.

Легко вообразить себе смятение двора! Тотчас были разсланы гонцы за всеми врачами города; те явились толпой, прописали пилюли и микстуры, но уши и носы остались, какими были. Одному из принцев сделали операцию, но уши отросли снова.

Вся история достигла убежища, куда укрылся Мук; он понял, что настала пора действовать. На вырученные от продажи фиг деньги он

заранее запасся одеждой, в которой мог выдать себя за ученого; длинная борода из козьей шерсти дополняла маскарад. Захватив мешочек с фигами, он направился во дворец, назвал себя чужеземным лекарем и предложил свою помощь. Вначале к нему отнеслись весьма недоверчиво, но когда Маленький Мук накормил фигой одного из принцев и тем возвратил его ушам и носу прежние размеры, все наперебой устремились за исцелением к чужеземному лекарю. Но король молча взял его за руку и повел к себе в опочивальню; там он отпер дверцу, ведущую в сокровищницу, и кивком позвал Мука.

— Вот все мои сокровища, — произнес король, — ты получишь все, чего бы ни пожелал, если избавишь меня от этой позорной напасти.

Слаще всякой музыки прозвучали эти слова в ушах Маленького Мука; он еще с порога увидал свои туфли, а рядом с ними лежала и палочка. Он принялся бродить по комнате, словно дивясь на сокровища короля, но когда дошел до своих туфель, то поспешно скользнул в них, схватил палочку, сорвал с себя накладную бороду и предстал перед изумленным королем в образе старого знакомого, бедного изгнанника Мука.

— Вероломный король, — заговорил он, — ты платишь неблагодарностью за верную службу, да будет тебе заслуженной карой уродство, которым ты поражен. Я оставляю тебе длинные уши, дабы они изо дня в день напоминали тебе о Маленьком Муке.

Сказав так, он стремительно перевернулся на каблуке, пожелал очутиться где-нибудь подальше, и не успел король позвать на помощь, как Маленький Мук исчез. С тех пор Маленький Мук живет здесь в полном достатке, но совсем одиноко, ибо он презирает людей. Житейский опыт сделал его мудрецом, который, невзирая на несколько странную наружность, больше заслуживает уважения, нежели насмешки.

Вот что рассказал мне отец. Я выразил искреннее сожаление о том, что был груб со славным человеком, после чего получил от отца вторую

половину назначенного мне наказания. Я, в свою очередь, поведал поварищам о чудесных приключениях карлика, и мы все так полюбили его, что никто и не думал больше насмехаться над ним. Даже наоборот, мы оказывали ему всяческое почтение до самой его смерти и кланялись ему так же низко, как муфтию или кади.

Путешественники решили остаться на день в этом караван-сараяе, чтобы и люди и животные запаслись силами на дальнейший путь.

Вчерашняя веселость сохранилась и сегодня, и они не уставали предаваться всяческим забавам. Но после трапезы они обратились к пятому из купцов, Али Сиза, пребывая, чтобы он, по примеру других, исполнил свою обязанность и рассказал какую-нибудь историю. Он возразил, что жизнь его бедна интересными событиями и ему нечего почерпнуть из нее, а посему он и расскажет им нечто иное, а именно сказку о мнимом принце.

Сказка о мнимом принце

Жил однажды на свете скромный портновский подмастерье по имени Лабакан, и учился он своему ремеслу у опытного мастера в Александрии. Никто не смел сказать, что Лабакан не искусно владеет иглой, наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу, и несправедливо было бы назвать его лентяем, но какой-то был в нем изъян: то он часами шил не отрываясь, так что игла накалялась у него в руке и начинала дымиться нитка, а работа получалась лучше, чем у кого угодно. А в другой раз, и, к сожалению, это случалось чаще, он сидел в задумчивости, устремив неподвижный взор вдаль, и вид у него был такой странный, что его хозяин и прочие подмастерья говорили, глядя на него, не иначе как: «Лабакан опять напустил на себя знатный вид!»

По пятницам же, когда люди спокойно возвращались после молитвы домой к своим делам, Лабакан в красивом наряде, который он приобрел ценой больших трудов и лишений, выходил из мечети и медленно гордой поступью прогуливался по площадям и улицам города. Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему: «Мир тебе!», или: «Как поживаешь, друг Лабакан?» — он милостиво махал рукой или в крайнем случае важно кивал головой. Если тогда хозяин шутя говорил ему: «В тебе, Лабакан, погиб принц», — он радовался и отвечал: «Вы поже это заметили?», или: «Я сам давно так думаю!»

Так скромный портновский подмастерье Лабакан вел себя долгое время, но хозяин терпел его дурость, ибо, в общем, он был человек хороший и работник исусный. Но вот однажды Селим, брат султана, который проезжал как раз через Александрию, прислал портному свою праздничную одежду для какой-то переделки, и хозяин дал ее Лабакану, ибо тот обычно выполнял самую тонкую работу. Когда вечером хозяин и подмастерья разошлись отдохнуть от дневных трудов, какая-то непреодолимая сила привела Лабакана обратно в мастерскую, где висела одежда государева брата. Долго стоял он в раздумье перед ней, любясь то блеском вышивки, то переливами бархата и шелка. Он не мог преодолеть в себе искушение ее примерить, и глядь — она была словно по нему сшита. «Ну, чем я не принц? — вопрошал он себя, шагая взад и вперед по комнате. — Разве сам хозяин не говорил, что я рожден быть принцем?» Вместе с одеждой к подмастерью как будто пристали и царственные повадки; он не на шутку вообразил себя самым подлинным принцем и, в качестве такового, решил отправиться в дальние края, покинув то место, где люди, по глупости своей, не могли отгадать под скромной оболочкой его прирожденное достоинство. Великолепная одежда словно была ниспослана ему доброй феей, поэтому он не пожелал пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую

наличность и вышел под покровом темной ночи из ворот Александрии. Повсюду на своем пути новый принц возбуждал всеобщее удивление, ибо великолепная одежда и стругая, величавая осанка совершенно не подходили для пешехода. Когда его об этом спрашивали, он обычно принимал таинственный вид, отвечая, что у него на то имеются особые причины. Однако, убедившись, что пешеходное странствование делает его смешным, он купил по дешевке старую клячу, которая вполне его устраивала своим невозмутимым спокойствием и кротостью, никогда не вынуждая казаться искусным наездником и тем попадать в неловкое положение, ибо в этом деле он не был силен.

Однажды, когда он шаг за шагом тащился на своем Мурфе, — так назвал он старую клячу, — к нему присоединился какой-то всадник и попросил разрешения продолжать путешествие вместе, — ведь дорога в беседе всегда кажется короче. Всадник, веселый юноша, был красив собой и приятен в общении. Он завязал с Лабаканом разговор о том о сем, и вскоре выяснилось, что он, как и портной, пустился в путь без определенной цели. Он сказал, что зовут его Омаром и что он племянник несчастного каирского паши Эльфи-бея и путешествует, дабы выполнить приказание, данное ему дядей на смертном одре. Лабакан рассказал о своих обстоятельствах не столь чистосердечно, дав только понять, что происхождения он высокого и путешествует ради собственного удовольствия.

Молодые люди пришли друг другу по вкусу и продолжали путь вместе. На второй день их совместного странствия Лабакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить, и, к своему удивлению, услышал следующее: Эльфи-бей, каирский паша, воспитывал Омара с самого его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. Но вот когда на Эльфи-бея напал неприятель и он, после трех неудачных

битв, смертельно раненный, вынужден был бежать, он открыл своему питомцу, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который, из страха перед предсказаниями своих звездочетов, удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда ему исполнится двадцать два года.

Эльфи-бей не назвал имени его отца, а только строго наказал ему: в четвертый день будущего месяца рамадана, в день, когда ему исполнится двадцать два года, явиться к знаменитой колонне Эль-Зеруйя, в четырех днях езды на восток от Александрии; там он увидит людей, которым вручит данный ему Эльфи-беем кинжал, сказав: «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят: «Хвала пророку, сохранившему тебя», то он должен следовать за ними и они приведут его к отцу.

Портновский подмастерье Лабакан был очень удивлен этим рассказом; отныне он стал смотреть на принца Омара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба даровала Омару еще и звание государева сына, хотя он уже считался племянником могущественного паши, меж тем как его, обладавшего всем, что отличает принца, она, словно в насмешку, наделила убогим происхождением и заурядным жизненным путем. Он сравнивал себя с принцем и скрепя сердце признавал, что у того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое, приветливое обхождение — словом, все внешние достоинства, способные подкупить каждого. Но, даже находя у своего спутника так много достоинств, он все же считал, что такая личность, как он, Лабакан, может показаться царственному отцу еще желаннее, чем настоящий принц.

Подобные размышления преследовали Лабакана целый день, с ними он и уснул на очередном привале; когда же он утром пробудился и взгляд его упал на спящего подле него Омара, которому ничто не мешало спокойно спать и грезить об уготованном ему счастье, у него зародилась мысль

хитростью или силой добиться того, в чем ему отказала неблагоприятная судьба; кинжал, этот отличительный признак возвращающегося на родину принца, был зацеплен за пояс спящего. Лабакан потихоньку выпалил его, чтобы вонзить в грудь владельца. Но мысль об убийстве возмутила миролюбивую душу подмастерья; он удовольствовался тем, что завладел кинжалом, оседлал себе более резвую лошадь принца, и когда Омар, проснувшись, увидел, что у него отняты все надежды, вероломный спутник успел опередить его уже на много миль.

Ограбление принца свершилось как раз в первый день священного месяца рамадана, так что Лабакану оставалось еще четыре дня, чтобы в назначенный срок явиться к колонне Эль-Зеруйя, хорошо ему известной. Хотя до местности, где находилась колонна, было теперь никак не более двух дней пути, он все-таки поспешил туда, ибо все время боялся, что настоящий принц его нагонит.

К концу второго дня Лабакан издали различил колонну Эль-Зеруйя. Она стояла на небольшой возвышенности в обширной долине и видна была на расстоянии двух-трех часов пути. При виде ее сердце Лабакана забило сильнее; хотя в последние два дня у него было достаточно времени обдумать ту роль, которую он собрался играть, однако нечистая совесть вселяла в него некоторое смущение; но мысль, что он рожден быть принцем, приободрила его, и в конце концов он уверенно направился к цели.

Местность вокруг колонны Эль-Зеруйя была необитаема и пустынна, и новому принцу пришлось бы пуго с пропитанием, если бы он не запасся едой на несколько дней. В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами, возле своей лошади.

Назавтра, около полудня, он увидел, что вверх по долине к колонне Эль-Зеруйя движется целая процессия на лошадях и верблюдах. Процессия остановилась у подножия холма, на котором стояла колонна, и все

расположились в великолепных шатрах, как обычно устраиваются на привал караваны богатых пашей или шейхов. Лабакан догадался, что все эти люди явились сюда ради него, и охотно представил бы им уже сегодня их будущего повелителя; однако он обуздал свое нетерпение выступить в роли принца, решив ждать до следующего утра, когда его смелые вождения будут удовлетворены.

Восходящее солнце засияло над самым поржественным днем в жизни счастливица-портного и разбудило его к новой высокой доле государева сына взамен известного прозябания.

Правда, когда он взнуздывал коня, собираясь ехать к колонне, ему спало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка; правда, ему ясно представилась скорбь обманутого в своих лучших надеждах истинного царского сына, — однако жребий был брошен, что сделано, того не изменишь, а самомнение нашептывало ему, что с виду он достапно величав и смело может явиться пред очи могущественного государя в качестве его сына. Ободренный этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою отвагу, чтобы пустить его настоящим галопом, и в четверть часа достиг подножия холма. Спрыгнув с коня, он привязал его к кустарнику, в изобилии росшему на склоне, затем вынул из-за пояса кинжал принца Омара и стал взбираться на холм; у подножия холма шестеро мужчин стояло вокруг важного старца царственной осанки; великолепный парчовый кафтан, опоясанный белой кашемировой шалью, белый пюрбан, осыпанный драгоценными камнями, — все свидетельствовало о высоком сане и большом богатстве этого старца.

Лабакан направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал:

— Я тот, кого вы ищете.

— Хвала пророку, сохранившему тебя! — отвечал старик со слезами радости. — Обними своего старого отца, мой возлюбленный сын Омар!

Чувствительный портной был очень распроган этими торжественными словами; он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом.

Но ему суждено было лишь один миг наслаждаться ничем не омраченным блаженством своего нового положения; высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник. У всадника и у лошади вид был необычайно странный; не то от усталости, не то из упрямства лошадь не хотела идти; ежеминутно спотыкаясь, она тащилась не то рысцой, не то шагом, а всадник подгонял ее и руками и ногами. Лабакан сразу узнал свою лошадь Мурфу и настоящего принца Омара, но в него прочно вселился злой дух лжи и обмана, и он порешил во что бы то ни стало всеми силами отстаивать присвоенные себе права.

Уже издали было видно, что всадник делает какие-то знаки. Вот он, несмотря на медленную рысцу коня Мурфы, достиг подножья холма, прыгнул с лошади и бросился вверх по холму.

— Остановитесь! — кричал он. — Кто бы вы ни были, остановитесь и не поддавайтесь обману подлого лгуна! Я Омар, и горе тому, кто посмеет злоупотребить моим именем!

При таком неожиданном обороте дела лица всех, стоящих у колонны, выразили глубокое изумление, особенно поражен был, по-видимому, старец, переводивший недоуменный взгляд с одного на другого. Но Лабакан заговорил с деланным спокойствием:

— Милостивый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумасшедший портновский

подмастерье из Александрии, по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева.

Слова эти привели принца в неистовство; кипя яростью, хотел он кинуться на Лабакана, но присутствующие бросились между ними и удержали его, а государь сказал:

— Да, это верно, возлюбленный сын мой, бедняга действительно не в своем уме! Свяжите его и посадите на одного из наших дромадеров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному.

Ярость принца улеглась; рыдая, обратился он к государю:

— Сердце подсказывает мне, что вы мой отец; во имя матери моей, заклинаю вас выслушать меня!

— Нет, боже избави, — отвечал тот, — он опять начинает заговариваться; и откуда только человеку мог взбрести на ум такой вздор!

С этими словами он взял руку Лабакана и, опираясь на него, спустился с холма; оба они сели на прекрасных, покрытых дорогими попонами коней и двинулись во главе шествия по долине. А несчастному принцу скрупили руки, самого его крепко привязали к верблюду, и все время по бокам ехали два всадника, зорко следившее за каждым его движением.

Царственный старец был Саауд, султан Вехабитов. Он долго не имел детей; наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал; но звездочеты, у которых он спросил о грядущей судьбе мальчика, высказались так: «Вплоть до двадцать второго года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом». Посему, для вящего спокойствия, султан отдал сына на воспитание своему старому испытанному другу Эльфи-бею и двадцать два помпезных года ожидал лицезреть его.

Все это султан рассказал своему мнимому сыну и выразил всяческое удовлетворение его осанкой и полным достоинства обхождением.

Когда они прибыли во владения султана, жители повсюду их встречали радостными кликами, ибо слух о прибытии принца с быстротой молнии распространился по селам и городам. На улицах, по которым они следовали, были воздвигнуты арки из веток и цветов, яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко воссылали хвалу богу и его пророку, даровавшему им такого прекрасного принца. Все это наполнило восторгом тщеславное сердце портного, — тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Омар, который в немом отчаянии, по-прежнему связанный, следовал за процессией. Никто и не помышлял о нем посреди всеобщего ликования, относившегося собственно к нему. Тысячи голосов без конца выкликали имя Омара, но на него, по праву носившего это имя, не обращал внимания никто, — разве что время от времени кто-нибудь спрашивал, кого это везут так крепко связанным, и ответ сопровождающих, что это сумасшедший портной, — мучительно отдавался в ушах принца.

Наконец процессия прибыла в столицу султана, где все приготовления к торжественной встрече были еще пышнее, чем в других городах. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором в самой парадной зале дворца. Пол этой залы был покрыт гигантским ковром, стены украшены полотнищами голубого сукна, окаймленными золотым шнуром и кистями и повешенными на серебряных крюках.

Было уже темно, когда прибыла процессия, а потому в зале горело множество цветных фонарей, обращавших ночь в день. Но ярче всего расцветивали они глубину зала, где на троне восседала султанша. К трону, сплошь покрытому золотом и усыпанному крупными аметистами, вели четыре ступеньки. Четверо знатнейших эмиров держали над головой султанши красный шелковый балдахин, а шейх Медины обвевал ее опахалом из павлиньих перьев.

Так ожидала султанша супруга и сына; она поже не видела его с самого дня его рождения, но он снился ей столько раз в ее вещих снах, что она узнала бы его, долгожданного, из тысячи. Вот послышался гул приближающегося шествия; звуки труб и барабанов сливались с ликованием толпы; вот отзвучал стук копыт, промчавшихся по двору лошадей, все ближе и ближе раздавались шаги, наконец, двери залы распахнулись, и, сквозь ряды павших ниц слуг, султан об руку с сыном поспешил к трону султанши.

— Вот, — промолвил он, — я привел тебе того, по ком ты так давно поскуешь.

Султанша прервала его.

— Это не мой сын! — воскликнула она. — Это не те черты, которые во сне мне показал пророк!

Едва только султан собрался упрекнуть ее в суеверии, как дверь распахнулась, и в залу ворвался принц Омар, преследуемый своими стражниками, от которых он вырвался невероятным усилием. Задыхаясь, упал он к подножию трона.

— Здесь я хочу умереть! Прикажи меня убить, жестокий отец, ибо дольше я не в силах сносить такое поношение!

Слова эти озадачили всех; несчастного окружили, и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова, когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, вскочила с трона.

— Остановитесь! — воскликнула она. — Это и есть настоящий! Это он, кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло мое сердце!

Стражники невольно отступили от Омара, однако султан, запыхав яростным гневом, приказал им связать безумца.

— Здесь решаю я, — произнес он повелительным тоном, — и здесь судят не на основании женских снов, а на основании верных и непреложных признаков. Вот это (и он указал на Лабакана) мой сын, ибо он принес мне условный знак моего друга Эльфи — кинжал.

— Он украл его! — закричал Омар. — Он во зло употребил мою простодушную доверчивость!

Но султан не внял голосу своего сына, ибо привык во всех делах упрямо следовать лишь собственному суждению; посему он приказал силой вытащить несчастного Омара из залы, сам же с Лабаканом проследовал к себе в покои, полный злобы на султаншу, свою супругу, с которой, однако, в мире и согласии прожил целых двадцать пять лет.

Султанша же была в жестоком горе от случившегося; она не сомневалась, что наглый обманщик овладел сердцем султана, ибо в вещих снах она видела своим сыном того несчастного.

Когда скорбь ее несколько улеглась, она стала обдумывать средство, как убедить супруга в его неправоте. Это было, конечно, нелегко, ибо у того, кто выдавал себя за ее сына, оказался условный знак — кинжал, и, как она узнала, он столько расспрашивал Омара о его прежней жизни, что играл свою роль, не сбиваясь.

Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к колонне Эль-Зеруйя, чтобы подробно услышать обо всем, а затем решила обсудить это дело с самыми приближенными невольницами. Они придумывали по одно, по другое средство; наконец заговорила Мелихзала, умная старуха черкешенка.

— Если я не ошибаюсь, высокочтимая повелительница, человек, вручивший кинжал, назвал Лабаканом, сумасшедшим портпным, того, кого ты считаешь своим сыном?

— Да, верно, — ответила султанша, — но почему ты об этом спрашиваешь?

— А не думаете ли вы, что тот плут навязал ему свое собственное имя? — продолжала невольница. — Если это так, я знаю прекрасное средство уличить плута, но скажу его вам только на ухо.

Султанша подставила рабыне ухо, и та шепотом дала ей совет, видимо пришедшийся султанше по вкусу, поэтому что она собралась немедленно идти к султану.

Султанша была женщина умная, хорошо знавшая слабые стороны султана и умевшая пользоваться ими. Поэтому она сделала вид, что уступает ему и соглашается признать сына, но только спрашивает себе одно условие; султан, который сожалел уже о своей вспышке, согласился принять ее условие, и она заговорила:

— Мне хотелось бы испытать ловкость обоих. Другая, может быть, заставила бы их скакать верхом, фехтовать и метать копья, но это умеет всякий; а я хочу дать им такую задачу, для которой требуется сообразительность. Пусть каждый из них сошьет по кафтану и паре штанов, а мы посмотрим, кто сделает лучше.

Султан засмеялся и ответил:

— Нечего сказать, умную штуку вы придумали! Чтобы мой сын состязался с твоим сумасшедшим портным в том, кто сошьет лучше кафтан? Нет, это не дело!

Однако султанша напомнила ему, что он заранее согласился на ее условие, и султан, который всегда держал слово, наконец сдался, поклявшись, впрочем, что, какой бы прекрасный кафтан ни изготовил сумасшедший портной, он все-таки не признает его своим сыном.

Султан сам пошел к сыну и попросил его подчиниться причуде матери, которая непременно желает видеть кафтан, изготовленный

собственноручно им. У простодушного Лабакана сердце взыграло от радости. «Если только дело за этим, — подумал он, — то я уж сумею угодить султанше».

Во дворце отвели две комнаты: одну для принца, другую для портного, — там должны были они испытать свое искусство, причем каждому было выдано только по потребному количеству шелка, ножницы, игла и нитки.

Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын, но и у султанши превожно билось сердце: удастся ли ее хитрость или нет? Для работы обоим был дан двухдневный срок. На третий день султан повелел призвать свою супругу, и когда она явилась, он послал за кафтанами и их мастерами. Торжествуя, вошел Лабакан и развернул свое изделие перед изумленными взорами султана.

— Посмотри-ка, отец, — сказал он, — посмотри-ка, глубокочтимая матушка, разве это не образец всех кафтанов? Я побьюсь об заклад с самым искусным при дворным мастером, что лучше ему не сшить.

Султанша усмехнулась и обратилась к Омару:

— А что ты смастерил, сын мой?

С негодованием бросил пот об пол шелк и ножницы.

— Меня учили обуздывать коня и владеть саблей, а копье мое попадает в цель за шестьдесят шагов, но портняжное ремесло мне неведомо, оно не подобало бы воспитаннику Эльфи-бея, повелителя Каира.

— О, ты истинный сын моего господина! — воскликнула султанша. — Ах! Дай мне обнять тебя, дай назвать тебя сыном! Простите, мой супруг и повелитель, — обратилась она затем к султану, — что я прибегла к этой хитрости. Разве вы не видите теперь, кто принц, а кто портной? Воистину, кафтан, изготовленный вашим сыном, великолепен, и мне бы очень хотелось узнать, у какого мастера он обучался.

Султан сидел погруженный в глубокую задумчивость, недоверчиво поглядывая то на жену, то на Лабакана, который тщетно старался скрыть краску стыда и досады на то, что так глупо выдал себя.

— И этого доказательства недостаточно, — сказал султан, — однако, хвала Аллаху, я нашел средство узнать, обманут я или нет.

Он приказал оседлать своего самого быстрого коня, вскочил на него и поскакал к лесу, который начинался неподалеку от города. Там, по старому преданию, жила добрая фея по имени Адолзаида, которая часто и раньше в тяжелые минуты приходила своим советом на помощь многим государям его рода, — к ней и поспешил султан.

Посреди леса была полянка, окруженная высокими кедрами. По преданию, там жила фея, и редко смертный отваживался проникнуть туда, ибо с давних пор страх перед тем местом передавался по наследству от отца к сыну.

Прибыв на то место, султан слез с коня, привязал его к дереву, стал посреди полянки и произнес громким голосом: «Если это правда, что ты в трудную минуту не отказывала моим предкам в добром совете, то не презри просьбы их внука и помоги мне в таком деле, где бессилен человеческий разум!»

Едва он произнес последние слова, как один из кедров раскрылся, и оттуда вышла укутанная покрывалом женщина в длинном белом одеянии.

— Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан Саауд! Намерения твои чисты, посему я не отрину твоей просьбы. Вот две шкапулки. Возьми их, и пусть те двое, что называют себя твоими сыновьями, сделают выбор; я знаю, что твой настоящий сын сделает выбор надлежащий. — Так сказала женщина под покрывалом и протянула султану две маленькие шкапулочки из слоновой кости, богато украшенные золотом и жемчугами; на крышках,

которые султан тщетно пытался открыть, были надписи из вделанных в них алмазов.

На обратном пути султан ломал себе голову, что бы могло быть в шкапулочках, которые ему никакими силами не удавалось открыть, и надписи тоже не помогали разгадке, ибо на одной шкапулочке стояло: «Честь и слава», а на другой: «Счастье и богатство». Султан подумал про себя, что и для него самого выбор между этими двумя надписями оказался бы не легок, ибо обе они одинаково заманчивы, обе одинаково соблазнительны.

Вернувшись к себе во дворец, он призвал султаншу и сообщил ей решение феи; она преисполнилась сладостной надежды, что тот, к кому влекла ее душа, выберет шкапулочку, свидетельствующую о его царственном происхождении.

Перед троном султана были поставлены два стола; на них султан собственноручно водрузил обе шкапулки, затем поднялся на трон и подал знак одному из своих рабов открыть двери залы. Блестящая толпа пашей и эмиров страны, которых созвал султан, хлынула в залу сквозь раскрытые двери. Они расположились на великолепных подушках, разложенных вдоль стен.

Когда все уселись, султан вторично подал знак, и в залу ввели Лабакана; горделивой поступью прошел он по зале, пал ниц перед троном и спросил:

— Что угодно моему отцу и господину?

Султан приподнялся на троне и заговорил:

— Сын мой, справедливость твоих припязаний на это имя подвергнута сомнению! В одной из этих шкапулочек содержится доказательство твоего высокого происхождения! Выбирай! Я не сомневаюсь, что ты выберешь верно!

Лабакан поднялся с колен и подошел к шкапулочкам; он долго обдумывал, какую взять, наконец сказал:

— Глубокочтимый отец мой, что может быть выше счастья называться твоим сыном; что благороднее, чем богатство твоего благоволения? Я выбираю эту шкапулочку, на которой написано «Счастье и богатство».

— Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал; а пока садись вот сюда на подушки рядом с мединским пашой, — сказал султан и подал знак рабам.

Тогда ввели Омара; взгляд его был мрачен, лицо печально, и вид его возбуждал единодушное сочувствие всех присутствующих. Он склонил колени перед троном и спросил, что повелевает султан.

Султан приказал ему выбрать одну из двух шкапулочек. Он поднялся и подошел к столу.

Внимательно прочитав обе надписи, он заявил:

— В последние дни я познал, сколь непрочно счастье и сколь преходяще богатство; но в эти же дни я познал, что храбрец обладает одним несокрушимым достоянием — честью и что блестящая звезда славы не закатывается вместе со счастьем. И пусть мне придется лишиться короны, — все равно, жребий брошен: «Честь и слава», я выбираю вас!

Омар положил руку на выбранную им шкапулочку, но султан приказал ему остановиться; он подал знак Лабакану в свою очередь подойти к столу, и тот тоже положил руку на выбранную им шкапулочку.

Тогда султан велел принести кувшин воды из святого источника Земзем в Мекке, омыл руки для молитвы, обернулся к востоку, пал ниц и стал молиться: «Бог отцов моих, ты, столетиями сохранявший наш род чистым и незапятнанным, не допусти недостойного посрамить имя Аббасидов! Возьми под защиту моего истинного сына в этот час испытания!»

Султан встал с колен и снова взошел на прон; все присутствующие замерли в ожидании, не смея дохнуть, — было бы слышно, если бы по зале пробежал мышонок, такая царила напряженная пишина; стоящие позади вытягивали шеи, чтобы видеть шкапулочки.

Тогда султан изрек: «Откройте шкапулочки!» — и шкапулочки, которые раньше никакими силами нельзя было открыть, внезапно распахнулись сами собой.

В шкапулочке, выбранной Омаром, на бархатной подушке лежали золотая корона и скипетр, в шкапулочке же Лабакана — большая игла и моток ниток! Султан приказал обоим поднести к нему шкапулочки. Он взял с подушечки маленькую корону, — что за чудо! — пока он держал ее, она в его руках становилась все больше, пока не достигла размеров настоящей короны. Он возложил корону на голову своего сына Омара, преклонившего перед ним колени, поцеловал его в лоб и повелел ему сесть по правую свою руку.

Затем повернулся к Лабакану и сказал:

— Есть такая старая поговорка: знай сверчок свой шесток! И тебе, видимо, надо знать свою иглу. Хотя ты и не заслужил моей милости, но за тебя просил топт, кому я сегодня ни в чем не могу отказать. Посему я дарую тебе твою жалкую жизнь, но если хочешь внять моему совету, то поспеши покинуть мою страну!

Посрамленный, уничтоженный, бедный порпновский подмастерье не мог ничего ответить. Он упал в ноги принцу, и слезы полились у него из глаз.

— Простите ли вы меня, принц? — спросил он.

— Верность другу, великодушие к врагу — вот чем славятся Аббасиды, — отвечал принц, поднимая его с пола, — иди с миром!

— О, ты истинный сын мой! — воскликнул распроганный султан и склонился на грудь сына.

Эмиры и паши и все вельможи государства поднялись со своих мест и провозгласили славу новому царскому сыну. Под всеобщее ликование Лабакан потихоньку прокрался из залы со своей шкапулочкой под мышкой.

Он спустился в конюшню султана, оседлал свою клячу Мурфу и выехал из городских ворот, держа путь на Александрию. Вся его жизнь в роли принца показалась ему сном, и только чудесная коробочка, богато украшенная жемчугами и алмазами, доказывала, что то был не сон.

Возвратившись в Александрию, он подъехал к дому своего прежнего хозяина, слез на землю, привязал свою лошаденку к двери и вошел в мастерскую. Хозяин сразу не узнал его и церемонно спросил, чем может ему служить, но когда он ближе всмотрелся в посетителя и узнал своего старого знакомого Лабакана, то позвал своих подмастерьев и учеников, и все они яростно набросились на несчастного Лабакана, который не ожидал такого приема; они толкали и колодили его утюгами и аршинами, кололи иглами и пыряли острыми ножницами, пока он в изнеможении не опустился на кучу старой одежды.

Пока он лежал, хозяин выговаривал ему за украденную одежду; напрасно клялся Лабакан, что он и воротился-то с целью возместить все, напрасно предлагал возмещение убытков в проекрапном размере, — хозяин и подмастерья опять накинулись на него, еще сильнее исколотили и вышвырнули за дверь. Избитый и исперзанный, сел он на своего Мурфу и поплелся в караван-сарай. Там он приклонил свою успалую, разбитую голову и спал размышлять о земной юдоли, о заслугах, столь часто не признаваемых, и о ничтожности и непостоянстве всех благ мирских. Он уснул с намерением отказать от высоких устремлений и стать честным ремесленником.

И на следующий день он остался при своем намерении — должно быть, тяжёлые кулаки хозяина и подмастерьев выбили из него всякие кичливые бредни.

Он продал за большую цену свою шкапулочку, купил себе дом и открыл портняжную мастерскую. Устроив все как следует и прибив над домом вывеску: «Лабакан, портняжных дел мастер», он уселся, взял пу и иглу и нитки, что оказались в шкапулочке, и принялся штопать кафтан, который так жестоко изодрал на нем хозяин. Кто-то отвлек его от работы, и когда он снова хотел взяться за нее, что за удивительное зрелище представилось ему!

Игла усердно шила дальше, без всякой посторонней помощи, и делала такие тонкие искусные стежки, каких не делал и сам Лабакан в свои вдохновеннейшие минуты!

Поистине, самый малый дар доброй феи обладает великой ценностью! Но дар этот имел еще и другую ценность, вот какую: моток ниток никогда не переводился, как бы прилежно ни работала игла.

У Лабакана появилось много заказчиков, и скоро он прослыл по всей округе самым знаменитым портным; он кроил одежду и делал первый стежок своей иглой, а дальше та проворно шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова. Скоро все в городе спали шить у мастера Лабакана, ибо он работал прекрасно и брал очень дешево, и только одно смущало жителей Александрии, а именно, что он обходился без помощников и работал при закрытых дверях.

Итак, надпись на шкапулочке, сулившая счастье и богатство, оправдалась; счастье и богатство, хотя и в скромных пределах, сопровождали шаги простака портного, а когда он слышал о славе молодого султана Омара, которая была на устах у всех, когда он слышал, что этот храбрец стал любимцем и гордостью своего народа и грозой врагов, то

прежний принц думал про себя: «А ведь лучше, что я остался портным, потому что честь и слава далеко небезопасны». Так жил Лабакан, довольный собой, уважаемый согражданами, и если игла за это время не потеряла своей силы, то она шьет и по сию пору вечной ниткой доброй феи Адолзаиды.

На восходе солнца караван снялся с места и вскоре достиг Биркет-эль-Гада, или Колодца Пилигримов, откуда до Каира оставалось всего три часа пути. Его прибытия поджидали, и купцы наши были очень обрадованы, увидев друзей, выехавших им навстречу из Каира. Они вступили в город через Бебельфальхские ворота, ибо считается добрым знаком при возвращении из Мекки вступать в город через те самые ворота, через которые вступил в него пророк.

На базарной площади четверо турецких купцов распрощались с чужестранцем и греческим купцом Цалевкосом и отправились вместе с друзьями по домам. Цалевкос же указал чужестранцу хороший каравансарай и пригласил его к себе отобедать. Чужестранец согласился, пообещав прийти, как только сменит одежду.

Грек позаботился о том, чтобы как можно лучше попотчевать чужестранца, к которому привязался за время дороги, и когда все яства и напитки были поданы, сел, поджидая гостя.

Наконец по галерее, ведущей к его покоям, раздались медленные и тяжелые шаги. Он встал, чтобы по-дружески приветствовать гостя на пороге; но, отворив дверь, отпрянул в ужасе, ибо перед ним стоял прежний страшный человек в красном плаще. Он еще раз взглянул на него, — сомнений быть не могло: та же величавая, повелительная осанка, та же маска, из которой на него сверкали темные глаза, и тот же, запканый

золотом красный плащ, столь памятные ему по самым тяжким часам его жизни.

Разноречивые чувства бушевали в груди Цалевкоса; он давно уже примирился с этим образом, который сохранил в памяти, и все простил ему, но вид его расправил старые раны, — все долгие часы предсмертной поски, вся скорбь, что отравила цвет его молодости, вихрем пронеслись перед его духовным взором.

— Что надобно тебе, страшный человек? — вскричал грек, меж тем как видение не двигалось с порога. — Поспеси прочь, пока я не проклял тебя!

— Цалевкос! — произнес из-под маски знакомый голос. — Так-то ты принимаешь своего гостя?

Говоривший снял маску, откинул плащ, — то был Селим Барух, чужестранец.

Но Цалевкос не мог прийти в себя; его пугал чужестранец, в котором он так явственно увидел незнакомца с Ponte Vecchio, но привычное гостеприимство взяло верх; он жестом пригласил чужестранца к столу.

— Я читаю у тебя в мыслях, — заговорил топ, когда они уселись, — взгляд твой вопрошает меня; я мог бы смолчать и навеки скрыться с глаз твоих, но мне должно оправдаться перед тобой, и потому я решился явиться к тебе в прежнем своем облике, под страхом навлечь на себя твое проклятие. Ты как-то сказал мне: «Вера отцов повелевает мне возлюбить его, ибо он, конечно, несчастнее меня». Поверь, что это так, и выслушай мое оправдание.

Мне надо начать издалека, дабы ты мог до конца понять меня. Я появился на свет в Александрии, от родителей-христиан. Отец мой, младший сын старинного и славного французского рода, был консулом своей страны в Александрии. С десятилетнего возраста я воспитывался во Франции у одного из братьев моей матери и лишь через несколько лет после

начала Революции, вместе с дядей, не чувствовавшим себя в безопасности на родине, отправился искать пристанища за морем, у моих родителей. Упояв обрести покой, отнятый у нас восставшим французским народом, прибыли мы в отчий дом. Но увы! В родном моем доме не все было ладно. Внешние бури того беспокойного времени, правда, еще не докатились сюда, но тем неожиданнее поразило несчастье внутренний мир нашей семьи. Брат мой, подающий большие надежды юноша, первый секретарь моего отца, незадолго до того женился на дочери одного флорентийского вельможи, жившего по соседству с нами; за два дня до нашего приезда молодая жена внезапно исчезла, и, несмотря на все старания, ни нашей семье, ни ее отцу не удалось напасть на ее след. Пришлось предположить наконец, что она во время прогулки забрела слишком далеко и попала в руки разбойников. Эта мысль была бы, пожалуй, отрадней моему несчастному брату, чем истина, не замедлившая обнаружиться. Изменница уехала за море с молодым неаполитанцем, которого встречала в доме своего отца. Брат мой, до крайности возмущенный ее поступком, приложил все усилия, чтобы привлечь к ответу преступницу, но тщетно: хлопоты его, наделав много шума в Неаполе и во Флоренции, лишь навлекли на нас еще большее несчастье. Флорентийский вельможа отправился к себе на родину, якобы затем, чтобы защитить права моего брата, на деле же — чтобы погубить нас. Он пресек во Флоренции все розыски, предпринятые братом, и всяческими кознями добился того, что отец мой и брат попали в немилость к своему правительству, были захвачены с помощью постыднейших уловок, отвезены во Францию и там обезглавлены. Несчастливая моя мать лишилась рассудка и, только после десяти месяцев мучений, нашла избавление в смерти, придя, однако, в полное сознание за несколько дней до кончины. Ипак, я остался одинок в целом мире, но лишь одна мысль наполняла мне душу, одна мысль заставляла меня забывать даже

скорбь: то было мощное пламя, что зажгла во мне мать в свой последний час.

В последние часы, как я уже говорил тебе, сознание к ней возвратилось, она позвала меня и спокойно говорила со мной о нашей участи и о своей кончине. Но потом она велела всем уйти из комнаты, с торжественным видом поднялась на своем убогом ложе и сказала, что я получу ее благословение, лишь поклявшись совершить то, что она завещает мне. Потрясенный словами умирающей матери, я дал священный обет сделать то, что она мне укажет. Тогда она стала поносить флорентийца и его дочь и, под страшной угрозой своего проклятия, приказала мне отомстить ему за нашу несчастную семью. Она испустила дух у меня на руках. Жажда мести давно таилась в моей душе; теперь она вспыхнула с огромной силой. Я собрал остатки отцовского наследства и поклялся либо отомстить, либо умереть.

Вскоре я приехал во Флоренцию и жил там, скрываясь от всех. Замыслам моим отчасти препятствовало то положение, которое занимали мои враги. Старик флорентиец стал губернатором, а значит, располагал всеми средствами погубить меня при малейшем подозрении. Случай пришел мне на помощь. Однажды вечером мне на улице повстречался человек в хорошо знакомой ливрее. По неверной походке, по мрачному виду и по срывавшимся у него с уст вполголоса «*Santo sacramento*», «*Maledetto diavolo*»² я узнал старика Пьетро, слугу флорентийца, которого помнил еще по Александрии. Я не сомневался, что гнев его относится к хозяину, и решил воспользоваться его недовольством. Он был очень удивлен, увидав меня, выложил мне свои обиды на хозяина, которому с тех пор, как он стал губернатором, ничем не угодишь; и мое золото в союжении с его гневом не замедлило привлечь его на мою сторону. Самое трудное было сделано. Я

² Итальянские ругательства, означающие: проклятие, проклятый черт

нашел человека, который за плату в любую минуту готов был открыть мне двери в дом врага, — теперь план мести стал быстро близиться к осуществлению. Жизнь старого флорентийца не могла, по моему разумению, окупить гибель моей семьи. Смерть самого дорогого для него существа — дочери его Бианки — вот что надлежало ему испытать. Ведь именно она так подло надругалась над моим братом, ведь именно она была главной виновницей наших бед. Весть, что Бианка как раз собирается вторично замуж, оказалась желанной для моего алчущего мести сердца, — решено, она должна умереть. Но у меня самого рука не подымалась на убийство, от Пьетро я тоже не ждал решимости; поэтому мы спали подыскивать человека, который взялся бы за это дело. Я даже не пытался подкупить кого-нибудь из флорентийцев, ибо никто из них не пошел бы против губернатора. Тут Пьетро набрел на мысль, которую я и осуществил впоследствии, а в исполнители ее он предложил тебя как врача и чужестранца. Дальнейшее тебе известно. Лишь щепетильная честность твоя и осторожность едва не разрушили моего замысла. Вот откуда приключение с плащом. Пьетро впустил нас во дворец губернатора и столь же незаметно вывел бы нас оттуда, если бы мы с ним не убежали, ужаснувшись зрелища, которое увидели в полуоткрытую дверь. Гонимый страхом и раскаянием, я пробежал шагов двести и в изнеможении опустился на ступени какой-то церкви. Там лишь я овладел собой, и первая моя мысль была о тебе и о твоей ужасной участи, если тебя застигнут там, в доме.

Я прокрался назад ко дворцу, но не нашел ни тебя, ни Пьетро, однако дверца была открыта, и я понадеялся, что ты воспользовался возможностью бегства. Но, с наступлением дня, страх преследования и непреодолимое раскаяние погнали меня прочь, за пределы Флоренции. Я поспешил в Рим. Вообрази мое потрясение, когда там через несколько дней

стали повсюду рассказывать об этом событии, добавляя, что убийца, греческий врач, пойман. В помипельной тревоге поспешил я назад во Флоренцию: если уж раньше месья моя казалась мне чрезмерной, то теперь я проклинал ее, ибо считал, что жизнь твоя — слишком дорогая за нее цена. Я приехал в топт самый день, когда ты лишился руки. Не стану говорить о своих чувствах при виде того, как ты взошел на эшафот и мужественно претерпел спрадание. Но когда кровь твоя хлынула потоком, во мне созрело решение скрасить остаток твоих дней. Что было потом, ты знаешь сам, — мне остається досказать, зачем я совершил с тобой этот путь.

Мысль, что ты все еще не простил меня, тяжким гнетом лежала на мне, и вот я решился провести подле тебя несколько дней и наконец-то дать тебе отчет в том, чем я грешен перед тобой.

Молча выслушал грек своего гостя, и когда топт кончил, с кротким видом протянул ему руку.

— Я так и знал, что ты несчастней меня, ибо то жестокое деяние, подобно грозовой туче, навеки повисло над тобой. Прощаю тебя от души. Но дозвошь мне задать тебе вопрос: как ты очутился в таком облике среди пустыни? Чем занялся ты после того, как купил мне в Константинополе дом?

— Я возвратился в Александрию, — отвечал гость, — ненависть против всего рода человеческого бушевала у меня в груди, — жгучая ненависть, в особенности против тех народов, которые именуются просвещенными.

Поверь мне, в среде мусульман мне дышалось вольнее!

Не успел я побыть в Александрии нескольких месяцев, как соотечественники мои полонили ее.

Для меня они были только палачами моего отца и брата: поэтому я собрал нескольких единомышленников из знакомой молодежи, и мы примкнули к тем отважным мамелюкам, что не раз наводили страх на

французское войско. Когда кампания закончилась, я не мог решиться приступить к мирным трудам. Вместе с кучкой друзей-единомышленников я вел беспокойную, бродячую, посвященную борьбе и охоте жизнь; мне хорошо живется с этими людьми, которые почитают меня как своего владыку, ведь мои азиаты — народ хоть и не такой просвещенный, как ваши европейцы, зато они чужды зависти и клеветы, тщеславия и себялюбия.

Цалевкос поблагодарил гостя за откровенность, однако не скрыл от него, что человеку его происхождения и образования более приличествовало бы жить и трудиться в христианских, европейских странах. Он взял руку гостя, прося последовать за ним и жить с ним до самой смерти.

Тот обратился к нему распробанный взор.

— Теперь я вижу, — сказал он, — что ты до конца простил мне и что ты любишь меня. Прими же мою глубочайшую признательность. — Он вскочил с места и выпрямился во весь рост перед греком, которого даже устрашил воинственный вид, мрачно сверкающий взор и глухой таинственный голос чужестранца. — Твое приглашение очень лестно, — продолжал тот, — оно показалось бы заманчивым всякому другому — я же не могу принять его. Конь мой уже оседлан, слуги мои уже ждут меня, прощай, Цалевкос!

Эти чужие друг другу люди, которых столь странно свела судьба, обнялись на прощание.

— Как же мне назвать тебя? Как имя моего гостя, который навеки останется жить у меня в памяти? — спросил грек.

Чужестранец пылливо взглянул на него, еще раз пожал ему руку и произнес:

— Меня зовут повелителем пустыни. Я разбойник Орбазан.